

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение



1993

СЕНТЯБРЬ •

ОКТАБРЬ •

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Содержание

ДИСКУССИИ

Социалистический реализм как историко-культурное явление 3

СТАТЬИ

Носов Б. В. Курляндское герцогство и российско-польские отношения в 60-е годы XVIII века: к предыстории разделов Речи Посполитой 54
Дьяков В. А. Т. Костюшко и его соратники после сражения при Мацейовице (1794—1798) 67
Кручковский Т. Т. Проблемы разделов Речи Посполитой в русской историографии второй половины XIX — начала XX века 76
Носов Б. В. Разделы Речи Посполитой и русско-польские отношения второй половины XVIII века в зарубежной историографии (1970-е — начало 1990-х годов) . . 86
Дьяков В. А. О научном содержании и политических интерпретациях историософии евразийства 101

МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Кравецкий А. Г. Дискуссия о церковнославянском языке (1917—1943) 116

ХРОНИКА

Никольский С. В. Конференция в Харькове 136

* * *

Венедиктов Г. К. Международная конференция по диалектологии и лингвистической географии в Софии 140
70 лет академику Н. И. Толстому 142

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, Г. Ф. МАТВЕЕВ,
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, М. А. РОБИНСОН,
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОЦЯ,
Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

В феврале 1993 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН состоялась конференция, посвященная проблемам социалистического реализма. Ниже публикуются некоторые материалы этой конференции, которые представляют различные точки зрения на обсуждавшуюся проблему.

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

Время меняет окружающий нас мир стремительно и фундаментально. Казавшиеся еще вчера незыблемыми понятия и оценки многих явлений культуры, творчества отдельных художников, более того — целых направлений в искусстве признаются ошибочными, устаревшими, вредными, заслуживающими если не полного забвения, то уж обязательно переосмысления.

В последние годы вместе с общественно-политическими изменениями происходит процесс модификации прежнего типа культуры, который был крепко спаян с методом социалистического реализма. Пользуясь уникальностью нашего положения — нахождением на своеобразном пограничье затухающей социалистической культуры и еще только зарождающейся новой, не имеющей четких контуров и ориентиров, следовало бы выявить своеобразие и специфику этой эстетической системы, определить типологические сходения с предшествующими культурными эпохами с учетом того, что многое из созданного в рамках соцреализма, под его непосредственным воздействием, в любом случае является исторической ценностью. Тем более, что эта область исследований — не terra incognita. Существует обширная литература различной степени объективности и научной добросовестности о социалистической культуре, методе социалистического реализма, его функционировании в литературе и искусстве.

Необходимо посмотреть на соцреализм, абстрагировавшись от его конкретных исторических перипетий и выяснить, например, как он коррелирует с современными и предшествующими авангардистскими течениями, была ли реальностью или иллюзией тоталитарная стилистика в художественных культурах бывших социалистических стран, как соотносится творчество целого ряда писателей, создававших совсем не соцреалистические произведения, с основным художественным методом советской эпохи? Это лишь немногие вопросы, касающиеся в первую очередь литературы как наиболее значительной части культуры, воздействовавшей на умонастроение и мировоззрение общества.

Но если соцреализм как литературно-художественный метод исследовался весьма обстоятельно и разнообразно, то его фундаментальное воздействие на тот феномен, который называется социалистической или советской культурой, изучен значительно меньше. Поэтому постановка вопроса о соцреализме как исключительно художественном методе привела бы, на наш взгляд, к неоправданному сужению и обеднению серьезной историко-культурной проблемы: определения типа и характеристики культуры, обслуживавшей социалистические общества.

В то же время было бы непростительной ошибкой в одночасье «закрыть» соцреализм как художественный метод или сделать вид, что он был только творческим заблуждением некоторых художников и писателей, в основном посредственных, и существовал в течение короткого времени на ограниченном художественном пространстве. Хотим мы этого или нет, социалистический реализм и как метод, и как тип культуры состоялся, теперь он факт истории, его придется изучать уже на ином уровне, чтобы не впасть в новую необъективность оценок.

Возрастающий интерес к соцреализму наблюдается и в зарубежных странах. Так, например, венгерские искусствоведы, философы, историки культуры в коллективном труде под символическим названием «Солдаты искусства. Сталинизм и культура» [1] предприняли попытку оценить эстетическое и идеологическое влияния соцреализма на венгерское общество, привлекая богатый фактический материал из различных областей советской и венгерской духовной культуры 30—50-х годов.

Об интересе к эпохе соцреализма свидетельствует и возросший интерес в Западной Европе и Америке к творчеству художников советской официальной школы [2. С. 9]. Спрос же на недавно популярные работы художников «движения протеста» значительно уменьшился. Например, многие владельцы галерей в США предпочитают приобретать полотна, показывающие советский быт того времени. Это искусство и для них имеет не только эстетическую, но и историческую ценность.

Нельзя не заметить, что термин «социалистический реализм» имеет, в первую очередь, политическую окраску, а не научную, логически выверенную. Да и его авторство, хотя и приписывается М. Горькому, принадлежит, по всей вероятности, политикам, поскольку уже в конце 20-х — начале 30-х годов появляются документы, в которых говорится о социалистическом реализме. Партийному руководству был крайне необходим новый творческий метод, который смог бы обслуживать и пропагандировать его идеологические цели. Критический реализм, рожденный при ином общественно-политическом укладе, с его разоблачающим характером и художественными достоинствами, явно не подходил, новый реализм должен был прежде всего способствовать построению социалистического общества. Таким образом родился этот полуполитический, полулитературоведческий термин, обозначавший художественный метод, которому изначально был задан идеологизированный характер.

Существует мнение, что противопоставление понятий «критический реализм — социалистический реализм» вообще ошибочно, а оправданно два других: «буржуазный реализм — пролетарский реализм» и «критический реализм — апологетический реализм» [3. С. 27]. Под «апологетическим реализмом» и подразумевается социалистический реализм в его общепринятом значении. Если иметь в виду прежде всего художественную практику, такой взгляд также не безупречен, но он, без сомнения, логичен.

Подобная терминологическая путаница произошла и с определением типа культуры, сформировавшимся в советском обществе. Если смотреть на культуру с точки зрения смены классов, экономически господствующих в обществе, то следует говорить о смене рабовладельческой, феодальной, буржуазной и пролетарской культур. В первое десятилетие советской власти

культура и носила название «пролетарская», сменившееся в 30-е годы на «социалистическая», а в 60-е — «советская», что опять же указывало на идеологическую сущность этих понятий.

Представляется возможным называть исследуемый тип культуры культурой соцреализма, во-первых, по аналогии с предшествующими типами культур — романтизмом, реализмом, модернизмом, во-вторых, благодаря доминирующей роли в этот исторический период метода социалистического реализма. Естественно, принимать это название можно с определенной долей условности, так как ни один из существовавших или существующих типов культур не однороден, в том числе и соцреалистический.

Общезвестно современное определение соцреализма как формализованной, конституированной структуры, управляющей всеми формами культуры — от экономики до моды и поведения в быту — насильственное упрощение духовной и общественной жизни. Подобный тип культуры сравнивается современными философами со средневековым религиозным тоталитаризмом. Но насильственное управление и сдерживание исторического хода культуры не удалось ни одному тоталитарному режиму.

Активное формирование нового типа культуры началось в конце 20-х годов с укреплением и стабилизацией советского тоталитарного режима. Выработывались ее основные цели, вырисовывались основные черты, определялся адресат. Режим к этому времени в основном расправился с внутренним врагом — большей частью интеллигенции, особенно дворянской — и вплотную приступил к формированию нового человека, гражданина «самого гуманного и справедливого» общества в мире. Для этого необходимо было перевоспитать «не понимающую своих истинных задач» творческую интеллигенцию. В 1932 г. появляется известное постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Этим постановлением были распущены все творческие группировки и поставлен вопрос о создании единого Союза писателей. Таким образом, официально были запрещены все художественные направления, единственно правильным и плодотворным признавался только метод соцреализма. Эта операция была проведена по уже использованному при запрещении всех политических партий сценарию. Кончилось не только время конституированного сверху политического, но и официально не запрещаемого творческого разномыслия, началось строительство новой культуры, основой которой стало мифотворчество.

Главной задачей социалистической мифологии несомненно было поддержание общества в состоянии неадекватного восприятия собственных достижений, своего положения в мире. Поскольку основным адресатом и потребителем культуры соцреализма был малограмотный, малоимущий человек, не обремененный культурными традициями, он очень быстро поверил в один из основных мифов новой эпохи: «Революция дала тебе и твоим близким все, вы были никем, а стали или можете стать всем». Даже в относительно консервативном фольклоре, менее других областей культуры подверженном политической конъюнктуре, отмечались многочисленные случаи создания лучшими сказительницами заказных новин о Ленине и Сталине.

Мифы соцреалистической культуры имели общую черту — они всегда были основаны на полуправде, благодаря чему их вращение в сознание происходило быстрее и успешнее. Конечно, гражданин СССР мог стать «всем», но не любой, а только имеющий нужное происхождение, чистую анкету, незамутненную веру в торжество коммунизма. Да и это не всегда гарантировало успех.

Распространению мифов способствовала необычайная театрализация всех сфер жизни: с одной стороны — обилие всевозможных парадов, празднеств, гуляний, грандиозных встреч отважных героев-летчиков, шумные награждения стахановцев, декоративно и пышно оформленные — с морем цветов,

белыми парадными одеждами, радостной, бодрой музыкой, а с другой — череда показательных процессов с заранее распределенными ролями. Никогда в истории России, на наш взгляд, театральность не эксплуатировалась так интенсивно и эффективно для достижения неправедных целей. Кажущееся становилось настоящим, настоящее — кажущимся.

С самого начала формирования культуры соцреализма активно развивалась и совершенствовалась система двойных смыслов — тайного и явного, — пронизавшая все сферы политической, общественной и духовной жизни общества: от политических заявлений и программ, лозунгов и экономических рапортов до произведений литературы, театра, живописи, кинематографа, а затем и телевидения.

Поощрялся принцип тиражирования и копирования, внедрялась нивелировка любого вида творчества. Знаменательны в этой связи строки Маяковского, многократно воспроизведенные на кумаче: «Кто там шагает правой?левой!левой!», и не менее известный лозунг сталинщины: «Незаменимых нет!». В течение десятилетий тиражировались скульптурные изображения Ленина и Сталина, сталевары и девушки с веслом, пионеры с горнами и барабанами, не отличающиеся художественным разнообразием, одинаково безвкусные, служащие пропаганде идеалов социалистического общества. Они сделали свое дело — воспитали поколения людей, не имеющих эстетического вкуса, презирающих творческий труд. Совсем недавно мы были свидетелями бездумного варварского сноса памятников, и какое дело было этим разрушителям до их исторической или эстетической ценности. . .

Только в нашей стране известные художники при создании копий своих картин в зависимости от изменения политического курса, например, после разоблачений XX партийного съезда, закрашивали фигуру Сталина или его портрет — обязательные атрибуты всех расчитанных на успех картин.

И все это — неотъемлемая часть культуры соцреалистической эпохи, в которой непостижимым образом соединилось несоединимое: двурушничество и патриотизм высокой пробы, героизм и раболепное почитание злодея, «Тихий Дон» и одиозные производственные романы, поэзия Б. Пастернака и А. Жарова. Этот ряд можно было бы значительно увеличить, но противоречивость исследуемой проблемы не исчезнет. Для ее постижения необходимы не только глубокий и всесторонний анализ, но и предельно возможная степень объективности.

КУРЕННАЯ Н. М., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A művészet katonái. Sztalinizmus és kultúra. Budapest, 1992.
2. Ван Клиф П. Зигзаги революционного искусства//Мы. 1992, апрель.
3. Вопросы философии. 1992. № 3. Интервью с М. Л. Гаспаровым.

ТОТАЛИТАРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СУРРОГАТ РЕЛИГИИ

Уникальность исторического прецедента — практическая реализация социалистической модели общества на территории бывшей Российской империи — не снимает культурологической задачи выявления архетипических корней этого явления, исследования его в типологическом аспекте, сравнительного анализа его мифологии в ряду других.

Одна особенность идеологии социализма представляется в данном случае

фундаментальной — речь идет о своеобразном *qui pro quo*, о подстановке истин веры на место истин разума и познания. Культурология различает два основных типа мировоззрения и связанных с ними способа поведения (практического, интеллектуального, эстетического и т. д.) — научный и религиозный. В свете этой, грубо говоря, условной дихотомии марксизм-ленинизм, ставший в России надолго господствующей философией, понимается как научная идеология, система философских, экономических и социально-политических взглядов, «наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления» [1]. Ее источники хорошо известны и отнюдь не боговдохновенны — это немецкая классическая философия, английская политическая экономия и французский утопический социализм, основанные на принципах рационального мышления, оперирующие умопостигаемыми истинами и апеллирующие к рассудку, а не к чувствам и вере. Собственно, в этом и заключается принципиальное различие научных теорий и идей, основанных на достоверных и проверяемых фактах, и религиозных истин, которые даны через откровение и нуждаются в вере, являющейся условием их постижения — в лапидарной формулировке Тертуллиана «*credo, quia absurdum est*».

Примечательно, что в русской рецепции или в ленинской редакции эта немецко-англо-французская компиляция, построенная на рациональном фундаменте европейской науки, оказалась успешно препарированной в религиозное по своей сути учение, облеченное в квази-научную форму. Было ли это преобразование марксистско-ленинской философии в государственную религию обусловлено своеобразием русского менталитета, особым характером путей и судеб России, отразившихся в знаменитых строках Тютчева «Умом Россию не понять... в Россию можно только верить», — это вопрос перманентно открытой дискуссии.

Предпосылки такого превращения истин разума в истины веры, научного учения в религиозное, возможно, действительно связаны с теми историческими обстоятельствами и духовными свойствами русской интеллигенции, о которых Н. А. Бердяев писал еще в «Вехах» (1909): «Интересы теоретической мысли у нас были принижены, но самая практическая борьба со злом всегда принимала характер и с п о в е д а н и я отвлеченных теоретических учений. Истинной у нас называлась та философия, которая помогала бороться с самодержавием во имя социализма, а существенной стороной самой борьбы признавалось обязательное и с п о в е д а н и е такой „истинной“ философии» [2. С. 25]¹. Бердяев отмечал в русской философии черты, присущие и русской интеллигенции — жажду целостного мирозерцания, органического слияния истины как интеллектуальной категории и добра как категории нравственной, знания и веры: «Свойства русского национального духа указывают на то, что мы призваны творить в области религиозной философии» [2. С. 27].

В свою очередь предпосылки подобной подстановки религиозного учения на место философского можно усматривать в милленаристском характере тех общественных движений, которые привели к перевороту в России в 1917 г., во всяком случае — в их первоначальных милленаристских призываниях.

Многое роднит их с милленаристскими религиозными движениями в истории человечества. Так, например, среду их зарождения Н. Кон видит в маргинальных общественных слоях, утративших свои корни отчаявшихся массах в городе и деревне [3], а общие закономерности в развитии тра-

¹ Здесь и далее выделено в тексте мной. — В. М. Отметим, что удачно найденное Бердяевым оксюморонное сочетание «исповедовать философию» для обозначения этого российского *qui pro quo*, отозвалось в значительно более поздние времена в интеллигентской шутке: «А вы что исповедуете? Марксизм?».

диционных обществ в периоды жизненных переломов В. Тэрнер [4] обнаруживает в обрядах перехода. Переходная система в жизни общества, именуемая Тэрнером коммунитас, т. е. тотальная, идеальная, абсолютная община, противоположная статусной, стабильной, или «структуре», обладает такими свойствами милленаристских религиозных движений, как гомогенность, равноправие, анонимность, отсутствие собственности, единение и общность, низведение всех на один статусный уровень, ношение одинаковых одежд, половое воздержание или его противоположность, равно ликвидирующие брак и семью; отмена рангов, невнимание к внешнему виду, бескорыстие, абсолютное повиновение пророку или вождю (в России особенно проявившееся при Сталине), сакральное наставление (в нашем случае — политпросвещение, краткий курс истории ВКП(б) и т. п. дидактико-пропагандистские мероприятия), максимализация религиозных (в нашем случае — партийных) отношений и поведения в противоположность секулярным (партийная этика превыше общечеловеческой), прекращение родственных прав и обязанностей (ср. символическое значение пропагандировавшегося поступка Павлика Морозова; превращенное использование евангельского «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее ... Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» — Мтф.19:35, 37, в практике публичных отречений от членов семьи, признанных отступниками от идеи), простоватость речи и поведения (ср. в стихотворении 1919 г. «Только русский» В. Брюсова: «Мы пугаем. Да, мы дики./Тесан грубо наш народ... Но когда в толпе шумливой/Слышишь брань и буйный крик,— /Вникни думой терпеливой/ В новый, пламенный язык... Полюби ж в толпе вседневной/ Шум ее, и гул, и гам,/Даже грубый, даже гневный,/Даже с бранью пополам!»), сакральное безумие (ср. у М. Волошина в «Неопалимой купине»: «Кто ты, Россия? Мираж? Наваждение?/Была ли ты? Есть или нет?/Омут... Стремнина... Головокруженье.../Бездна... Безумие... Бред.../Все неразумно, необычайно.../Взмахи побед и разрух.../Мысль замирает пред вещью тайной,/И ужасается дух»), приятие боли и страдания («Мы примем на себя все муки/Холодных дней, голодных зим» — Р. Ивнев, «Ленин», 1917; «Кто хочет свободы и братства,/Тому умирать нипочем» — С. Есенин, «Небесный барабанщик», 1918).

Выделяя эти свойства, В. Тэрнер отмечает, что многие из подобных движений в начальном своем периоде направлены против племенных и национальных различий (ср. в нашем случае наупрелетарский интернационализм): «Коммунитас, или „открытое общество“, отличается от жесткой структуры, или „закрытого общества“, тем, что потенциально или идеально распространяется до пределов всего человечества (ср. стремление к мировой революции в России.— В. М.). На практике, разумеется, первоначальный импульс вскоре терется, и „движение“ само по себе становится институтом среди других институтов — часто более фанатичным и воинственным, чем другие, по той причине, что оно ощущает себя единственным носителем общечеловеческих истин (этим объясняется, в частности, и „воинственный атеизм“ русского марксизма — по сути это была конкурентная борьба с традиционным претендентом на обладание общечеловеческими истинами — религией и церковью.— В. М.). В большинстве случаев такие движения возникают в те исторические периоды... когда основные группы или социальные категории в стабильных обществах переходят из одного культурного состояния в другой. И эти движения, несомненно, суть явления перехода. Вероятно, по этой причине во многих из них столько элементов мифологии и символики заимствовано из традиционных rites de passage тех культур, в которых они возникли» [4. С. 184].

Наш собственный экзистенциальный опыт в условиях советской коммунитас подтверждает справедливость этих выводов английского ученого, полученных на ином этнографическом материале. Пафос коммунистической

идеологии, по крайней мере, на ее начальном этапе, обосновывался постулатами всеобщего равенства и братства по типу коммунитас, причем равенства именно в бедности, в отсутствии имущества (те, кто им так или иначе обладал, оказывались, говоря словами Оруэлла, менее равны); важнейшую роль играла анонимность, безликость, ибо вступающими на историческую арену полагались массы, классы — те, «кто был никем». Язык чутко и точно отразил эту смену действующих лиц исторической драмы — место индивидуумов, персон, номинация которых была достаточно пространной, ибо перечислялись титулы, звания, сословные обозначения (его превосходительство, его сиятельство, действительный тайный советник и т. п.), заслуги, знаки отличия и награды, должности, родовое имя, иногда родственные или служебные связи, заняли обезличенные социальные фигуры — матрос, крестьянин, рабочий, солдат, причем отмечалась эскалация этой анонимности — она распространялась и на лиц, ранее ею не охваченных: временные, юнкера, бывшие, буржуи, интеллигенты, белые.

Язык советской идеологии и пропаганды, использующий религиозную, церковную лексику и образность, красноречиво свидетельствует о том, какую на самом деле функцию в жизни и сознании общества стремится заместить марксизм-ленинизм: *слава КПСС, вера в светлое будущее, священная война, вы жертвою пали в борьбе роковой, враг народа (=дьявол), бессмертный вождь и учитель* (ср. библейское равви — учитель), *беззаветное служение, избранник, созидание нового мира, всесильное учение* и т. д.

Религиозная ориентация социалистической доктрины обнаруживается не только в хилиастических надеждах на «новое небо и новую землю» (ср. у С. Ессина: «Да здравствует революция/На земле и на небесах!») для праведников и прежде угнетенных, жаждущих компенсации для себя и возмездия для своих угнетателей (у Н. Асеева: «нам — торжество, а им — кладбище», у Д. Белого: «Улица эта, дворцы и каналы./Банки, пассажи, витрины, подвалы./Золото, ткани, и снедь, и питье,— /Это — мое!!/Библиотеки, театры, музеи./Скверы, бульвары, сады и аллеи,/Мрамор и бронзовых статуй литье,— /Это мое!!», — заявляет «Новый Хозяин», в то время как дельцы, ростовщики, мануфактурщики мечутся в смертельном страхе), но и в педалированной аскетичности новых культурных героев и агиографическом каноне их изображения (ср. простоту Ленина — «самый человеческий человек», происхождение Сталина из семьи сапожника, его неизменный китель, ср. также [5. С. 46—53], в культе мученичества за идею, в перенесении чаяний в далекое царство грядущего, в презрении к настоящему.

«Социалистические концепции традиционно предполагали определенную в качестве цели картину счастливого будущего, к которому придет история. Даже официальный проект научного социализма, хотя и демонстрировал принципиальное отклонение от домарксистских социалистических систем, которые он объединял под ярлыком „утопического социализма“, не избежал этих представлений. И хотя он опирался на подчеркнутую рациональную основу, оперировал логическими системами экономических построений, ясной и простой философией, цифрами, неустанно проявлял свои бесспорную практичность и научность, однако будущее, приоткрываемое рациональной конструкцией, оставалось несмотря ни на что мифологическим видением рая с явными сакральными чертами, по сути своей — хилиастическими» [5. С. 8]. Неоднократно отмечалось, что социализм вообще представлял собой нерелигиозное выражение пророческого мессианства, причем его основоположники могли не осознавать свою религиозность — так, например, Э. Фромм говорит о неосознанной «нетеистической религии» Маркса [6. С. 168].

И уж в тем большей степени это представляется справедливым для русского «извода» марксистского учения, ленинской его редакции, согласно

которой тысячелетнее царство праведных (-пролетариата) наступит на земле после низвержения сатаны (-самодержавия, правящих классов), подобно тому, как с этим говорится в Откровении Иоанна Богослова: падет Вавилон, великая блудница, осуществится воздаяние за грехи и роскошество земным царям, купцам и нечестивцам, а достойные вместе с пророком увидят *новое небо и новую землю* (От 18—21). На *новом*, пламенном языке литературы события русской революции в непосредственно близкий к ней период неизменно отражались с использованием библейской метафоры: «Люди *новые* восстали/Здесь, в республике труда», «И в *новых* ликах, живой причудой/Пред нами реет современность» (В. Брюсов, 1919). «Взвихренной конницей рвется/К *новому* берегу мир» (С. Есенин, 1918), «*Новое* солнце миру несет,/Рушит троны, темницы,/К вечному братству народы зовет,/Стирает черты и границы» (В. Кириллов, 1918). Лексико-стилистический анализ художественных текстов, отразивших надежды, связанные с социалистической революцией, много дает для понимания их хилиастического пафоса. Не говоря уже о прямых цитатах, непосредственных заимствованиях из Библии (например: «Отречемся от старого мира,/Отряхнем его прах с наших ног» — и «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрясите прах от ног ваших» — Мтф. 10 : 14 и т. п.), язык описания в прореволюционных художественных текстах — это бесспорно язык религиозного искусства с характерным для него резким размежеванием образов добра и зла, праведности и греховности, света и мрака, с доктринальной дедуктивностью (*credo ut intelligam*), морализаторством, церковной символической: «Как будто *пасха* в *посту* настала.../мы не только хороним, мы строим *новый* дом» (М. Кузмин, «Русская революция», 1917); «И близок день, прекрасней *рая*,/Когда враги, когда друзья,/Как цепи, фронты разрывая,/Воскликнут: *истина твоя!*» (С. Городецкий, «Россия», 1917); «Сердце — *свечка* за *обедней/Пасхе* массы и коммун» (С. Есенин, «Небесный барабанщик», 1918), «Взвивайтесь, стяги, над Москвой,/Из *мертвых* мы *воскресли!*» (П. Орешин, «За солнце», 1919); «Мы — зараженные совестью: в каждом/Стенке — *святой Серафим*,/Отданный тем же похмелям и жаждам./Тою же волей томим./Мы погибаем, не умирая,/Дух обнажаем до дна.../Дивное диво — горит, не сторяя,/Неопалимая *купина!*» (М. Волошин, «Неопалимая купина», 1919) и др.

Религиозная ориентация социалистической доктрины и отразивших ее литературных текстов обнаруживается и в характерных уподоблениях времени — пространству: представления о светлом будущем, понимаемом как искомое и истинное и резко противопоставленном прошлому, оцениваемому как мрачное, враждебное, связаны с идеями перехода из старого мира в новую, обетованную землю: «Нам путь указывает Ленин,/Не отходящий от руля./Уже сверкает в отдаленье/*Обетованная земля*» (Р. Ивнев, «Ленин», 1917), «И день грядет, и — молний трепетных/распластанные веера/на труп укажут за Совдепами,/на околешее Вчера./И Завтра... веки чуть приподняты,/Но мглою даль заметена./Ах, с розой девушка — *Сегодня!*/Ты — *обетованная страна*» (В. Нарбут, «Россия», 1918).

Декларируемый материализм марксистско-ленинского учения не может вводить в заблуждение относительно его идеалистически-религиозного характера (хотя и в превращенных формах). Весьма показательны в этой связи оценки современников социалистического переворота в России. Например, А. С. Изгоев в сборнике «Из глубины» (1918, опублик. в 1921 г.) утверждал, что большевики «показали нам человека без Бога, без религии, без православия», что «социализм — это христианство без Бога» [2. С. 368—369], а Н. А. Бердяев определял русский коммунизм как «исповедание определенной веры, веры, противоположной христианской» [7]. Уже в этих ранних оценках и описаниях отразилось противоречие между существенными характеристиками нового учения как атеистического и функциональными,

благодаря которым оно последовательно вытесняло, заменяя собою в разных сферах общественной жизни учение религиозное, становясь его «наместником на земле», новой мифологией.

Сакрализованный образ вождя находится в центре этой мифологии, и в соответствии с ее законами ее новый культурный герой выполняет свои архетипические функции — похищает культурные блага у первоначального хранителя, является демиургом и первопродком, борющимся с враждебными силами (см. [8]). Эти функции культурного героя новой мифологии со всей отчетливостью выразились в культуре и искусстве сталинской эпохи, что становится особенно наглядным при сопоставлении с историческим русским авангардом, в котором было «нечто „ветхозаветное“: его Бог был трансцендентен по отношению к созданному им миру, и нога пророка не стояла на обетованной земле. Сталинизм преодолел этот иконоборческий пафос как слишком односторонний и создал новую икону реалистическими средствами мировой живописи своего времени: социалистический реализм не нуждался в стилизации исторической иконы или античной классики, поскольку он исходил из того, что священная история осуществляется здесь, среди нас, что боги и демиурги — Сталин и его „железная сталинская гвардия“ — ежечасно, в реальности, в повседневности совершают свои преобразующие мир чудеса» [9. С. 124]. В соответствии с подобными постулатами осуществлялась и специфическая эстетизация советского быта, использующая каноны религиозного искусства, церковных ритуалов: сакрализованные сценарии революционных и государственных праздников, шествия с транспарантами-хоругвями, портретами-образами, гимнография, расположение портретов вождей по принципу иконостаса и т. п. Культ вождя соответствовал религиозной практике поклонения святым, паломничества к ним, пока они живы (ходоки у Ленина, освященность лиц, совершивших паломничество — «они видели Ленина»), или — после их смерти — к местам, связанным с их именем (Гори, Ульяновск), или к местам их захоронения — причем последнее сочетается с поклонением святым мощам (мавзолей). С культом святых связано также специфическое отношение к их текстам, не предполагающее никакой критики, но лишь благоговейное повторение и цитацию, которые, в свою очередь имеют объясняющую и законодательную силу во всех обстоятельствах текущей жизни. Э. Фромм замечал, что некоторые высказывания Маркса, например, «повторялись как ритуальные заклинания, так же, как на Западе произносятся цитаты из Библии» [6. С. 164].

В искусстве сакрализация образа вождя могла осуществляться путем сознательного уподобления его Богу, Христу, пророку («Нам путь указывает Ленин./И с верой пламенной в него/Мы для грядущих поколений/Уже готовим торжество» — Р. Ивнев, «Щедроты сердца не разменяны,/и хлеб — все те же пять хлебов./Россия Разина и Ленина,/Россия огненных столбов!» — В. Нарбут)² или, как показал М. Ямпольский, путем неосознанной иконографической имитации божественных поз и жестов в портретах Ленина и Сталина. Анализируя постреволюционную репрезентативную живопись,

² Даже настойчивое до назойливости расподобление, отрицание сходства между Богом и Лениным в одноименной поэме Маяковского (не «пророк», не «вождь милостью божьей», не «царствен и божествен», «не бог ему велел — избраннык будь!»), их противопоставление («Богу почести казенные не новость»), такое подчеркивание не божественной, а человеческой сущности героя («самого земного изо всех прошедших по земле людей», «самый человечный человек», «живее всех живых» — последнее, кстати, говорится о мертвом — в соответствии с идеей «смертию смерть поправ»), которое в конечном счете не уравнивает его с другими людьми, а возносит над ними (и прилагая к Ленину титул римского императора *princeps inter pares*, Маяковский прибегает к неуместной в данном случае превосходной степени — «Ленин меж равными был первейший», отсутствующей в латинском оригинале и как бы служащей отдаленным истоком для известной формулы из «Зверофермы» Оруэлла), функционально служат тому же уподоблению.

исследователь усматривает в ее топосах своего рода риторическую тератологичность, оксюморонность, сочетание несочетаемого, выполняющее фундаментальные идеологические функции: «Для советской идеологии тоталитарного периода исключительно характерно стремление осуществить неосуществимое, или стремление к сверхчеловеческим целям, которые лежат вне пределов человеческих возможностей ... Абсурд вносился в идеологическую репрезентацию как форма отрицания реальности, как свидетельство неограниченной силы тоталитарного общества, тоталитарного сознания. Тератологическая риторика политической репрезентации в большой степени отразила это стремление идеологии к ассимиляции противоречий и абсурдности, которые эта идеология превращала в нормальное, обыкновенное. Вот почему риторический оксюморон относительно безболезненно превращался в икону» [10]. Именно это оксюморонное сочетание рационального и иррационального в идеологии, культурном сознании, искусстве этой эпохи русской истории лежит в основе рассматриваемой функциональной подмены философского учения религиозным, что привело к многообразным следствиям, среди которых — демиургические и тотальные притязания новой идеологии (см., например, [11]).

Следует признать, что за этой подменой стоял очень тонкий расчет, не только принесший успех новой идеологии, но и обеспечивший его прочность или, по крайней мере, продолжительность во времени, чему мы являемся свидетелями и сегодня, наблюдая многочисленные шествия под красными знаменами. Поэтому одна из насущных задач культурологии видится в анализе сферы и механизмов функционирования советской идеологии, в обнажении ее мифологической природы, ее сакральных притязаний, ее ориентации на более глубокие пласты подсознания.

Рассматривая советский марксизм в ряду религиозных милленаристских движений, хотелось бы отметить и плодотворность для культурологии горизонтальной типологии тоталитарных культур, компаративного изучения тоталитарного искусства различных стран.

МОЧАЛОВА В. В., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 344.
2. Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 25, 27.
3. *Cohn N.* The Pursuit of the Millenium. N. Y., 1961. P. 31—32.
4. *Тэрнер В.* Символ и ритуал. М., 1983.
5. *Masera V.* Štastný věk. Symboly, emblemy a myty 1948—1989. Praha, 1992.
6. *Фромм Э.* Иметь или быть? М., 1990.
7. *Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 135.
8. Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 25.
9. *Groys B.* Gesamtkunstwerk Stalin. München — Wien, 1988.
10. *Yampolski M.* The Rhetoric of Representation of Political Leaders in Soviet Culture//Elementa. 1993. № 1. P. 107, 112.
11. *Гюнтер Х.* Железная гармония (Государство как тотальное произведение искусства)//Вопросы литературы. 1992. Вып. I.

К ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ АГИОГРАФИИ

В эпоху социализма между обществом и искусством установилось, в результате подавления последнего, взаимодействие ранее не существовавшего типа. Новое общество не нуждалось в самоценном искусстве. Оно

принуждало его к перерождению. Только мутация искусства, приспособленная к идеологическим требованиям, существующая лишь в политическом климате, была оставлена жить открыто и явно. Неподчинившееся же искусство жило тайной, глубинной жизнью, не выходя на поверхность и не соприкасаясь с официальной системой (если это происходило, то нередко кончалось трагически).

Утратив свои исконные черты, официальное искусство, получившее наименование социалистического реализма, наименование, в котором читается указание на напряженные, но отнюдь не динамические отношения между искусством и обществом, претендовало на всеобщее и непременно однозначное понимание и отказывалось от решения художественных задач, как бы страшась быть отринутым обществом, которое располагало всеми видами воздействия на него. Это искусство конструировало новый тип реальности и образ нового человека [1], но само быть «новым» не стремилось. Оно парадоксально использовало хрестоматийные ходы и приемы, усредняя и упрощая их (как заметил А. Фитов, за своими открытиями оно сходило к Толстому и Гоголю). А. Битов, И. Виноградов и многие другие указывали на близость соцреализма к романтизму. Но не только XIX в. был для него «стилевой находкой» и «кладовой» сюжетных мотивов. Анализ произведений соцреализма с точки зрения их возможной соотносительности с иными историко-культурными эпохами показывает, что он подпитывался и другими художественными системами, что во многом объясняется общим модусом этого искусства.

Общество, заменившее религию идеологией, нуждалось в произведениях, которые донесли бы эту новую религию до широких масс. Под новой религией имеется в виду не только пресловутый атеизм, призванный разбить такого опасного для большевизма противника как христианство, а не просто заменить веру научным мировоззрением. Атеизм тоже, конечно, религия, или совокупность верований, но подлинная новая религия шире атеизма. Это вся система представлений об обществе и человеке, которую в обязательном порядке требовалось усвоить как сакральную, т. е. заслуживающую почитания, но подлежащую сомнению и иррациональную. «Отвергнув Бога и абсолютные ценности Царства Божия, они (большевики.— Л. С.) абсолютизируют относительные ценности земного Бытия и служат им с таким же почитанием, с каким религиозный человек относится к Богу и правде Божией. Таким образом служение идеалу коммунизма и построению общественной жизни на основе науки без Бога было для Ленина и его сподвижников своего рода религиею. Писания Маркса и Энгельса играли в их мышлении и поведении такую же роль, как Священное Писание в жизни христианина» [2].

Наряду с сакральными текстами, общество нуждалось в производных от них. Литература соцреализма, формируя новый тип сознания, выполняла не только светские, но и религиозные функции, незаметно подменяя их, поставляя произведения, в которых новая система ценностей представлялась как сакральная. Это осуществлялось по давним канонам, в том числе — агиографической литературы.

Не следует полагать, что советские авторы сознательно отталкивались от великих образцов, которые, как известно, были отмечены вместе со всем старым миром. К этим образцам их исподволь подводила идея, задача представить совершенного человека. Эта идея и сыграла шутку с новым сознанием, одну из тех, которыми полна история культуры. Она заставила вспомнить вытесненное из памяти культуры, подспудно возродило те пласты искусства слова, которые в свернутом виде прочно укоренились в сознании многих поколений. Для их «развертывания» необязательны письменные источники. В различных вариантах, иногда в виде схемы, скрытой под многочисленными наслоениями, они возникают в литературах разных эпох,

в том числе и советской. Потому идеал человека в ней оказывается некоей условной конструкцией, в которой сквозь яркие приметы сегодняшнего времени и стиля поведения просвечивают следы, оставленные другим идеалом — христианским. Построенная иначе эта конструкция не работала бы, так как не была бы укреплена изнутри. Недостижимый и одновременно всеми желаемый образец при другом строении не был бы узнан.

Обычно персонажи новой агиографии угадываются в сюжете. Все основные значения агиографической литературы кумулирует сюжет. Его мотивы и ситуации хранят архаические смыслы, которые обычно затухают под тяжестью повествования, при обогащении множеством побочных сюжетных линий. Интонации агиографического жанра, настроения умиления, восторга, экстаза в советской литературе отсутствуют. Ничего общего с агиографией не имеет уровень повествования. Только сюжетные мотивы поддерживают новое содержание, приподнимая его над действительностью, освящая его.

Советских «агиографов» с безымянными в большинстве случаев авторами житий роднит ярко выраженная дидактичность — на примере идеального человека должен обучаться читатель. Отказ советской литературы от собственного литературного XIX—XX вв. стремления проникнуть во внутренний мир героя, отсутствие психологизации в его портрете также неожиданно приближают ее к житийной литературе, в которой не было места изображению внутреннего мира персонажа. Его вела только идея подражания великому пути, пути Иисуса Христа. Существует сходство и в особом, ритуальном, статусе житий и советских романов о настоящем человеке. И те и другие были «вербальным компонентом обрядового цикла... культа» [3]. Как когда-то основные жития, так и некоторые советские романы вовсе не из-за их выдающихся достоинств должны были знать представители различных слоев общества. Они входили во все учебные программы, от школьных до университетских, неоднократно экранизировались, существовали и их театральные адаптации.

Из различных видов житий к житиям-мартириям, повествующим о муках сражающихся за веру праведников, о трудностях узкого тернистого пути к вечной жизни, более всего приближаются произведения соцреализма о становлении нового человека. Продемонстрируем это положение на примере романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

А. Т. Твардовский в «Записных книжках» назвал его примером деградации мастерства, но и результатом подвижнического труда. С его точки зрения, роман Островского способствовал распространению представлений о легкости литературного труда, о доступности пути в литературу для каждого потерявшего трудоспособность [4]. Что примечательно — Твардовский подытоживает свои рассуждения следующими словами: по этой книге можно учиться жить, но не писать. Он выводит ее за пределы литературы, оставляя за ней право оставаться учебником жизни, не лишая дидактической функции. Происходит наложение образа писателя, Н. А. Островского, на созданный им персонаж, Павла Корчагина (причем не только у А. Т. Твардовского). Одному в жизни, другому в художественном воображении — прообразу и герою — была уготована тяжелая судьба. Каждый из них не смирился с ней и преодолел ее. Как происходит это преодоление в книге, важно для избранной нами темы.

Н. А. Островский наделяет своего героя способностью противостоять миру, активностью, агрессивностью. Павел всегда готов к бою, но не к созерцанию или состраданию. Это персонаж, не помышляющий о духовном развитии, не жаждущий самопознания. Воля для него — вдущее свойство личности. Он выковынвает волю, испытывает и закаляет себя, даже в мелочах. Например, бросает курить, ибо, как он говорит, «человек управляет привычкой, а не наоборот» [5. С. 265]. Готов он перестать ругаться, что

дается ему с трудом. Павел культивирует силу, с детства он беспрепятственно дерется, учится боксу, восхищается сильными людьми, например, Жухраем. Но восхищение силой и стремление к физическому совершенству уживается в нем с презрением к собственному телу, которое он называет предательским (хотя в нем и живет сердце большевика). Он губит себя в бессмысленных порой лишениях, не думает о последствиях. Цель и смысл жизни Павла — физический труд или аппаратная работа. Он готов работать без усталости, не знает, что такое отдых. Его привлекает только труд на благо всего человечества (партийная работа) или работа на заводе, у машин. Труд как служение другому человеку Павел ненавидит. Приметы его труда рассеяны по страницам романа: гудки паровоза, лязг и рев машин, копоть, гарь, папиросный дым, кипы бумаги, страстные споры.

Павел, борясь за счастье и свободу всего человечества, внутренне не свободен. В социализме «происходит не развязывание, а связывание творческих сил человека, подчинение их принудительному центру. В социализме отпущенный на свободу человек вновь приковывается к принудительной урегулированной жизни» [6]. Павел не осознает этой ситуации. Для него не существует жизни души и сердца. Он соткан из воли, тела и духа — «вот полная схема нового человека» [7]. Он не видит в себе полноценной личности. Ср. «Павел потерял ощущение отдельной личности... Он, Корчагин, растаял в массе, и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово „я“, осталось лишь „мы“» [5. С. 155]. Или: для революционера «личное ничто по сравнению с общим» [5. С. 311]. Эта усредненность для Павла не трагична. Он и не стремится к индивидуальности. Революция принесла «невиданное уничижение личности, когда отказ от личностного и гибель личности воспринимались обществом и самой гибнущей личностью как общественное торжество» [8].

Несвободный, не осознающий своей ценности как индивидуальная личность, Павел счастлив, ибо им владеет идея, имснущая «нашей идеей», о всеобщем счастье и равенстве. Он служит этой идее, и она преобразуется в его веру. По вере Павел и делит людей. Людей, не принявших новой веры, он считает обывателями, людьми другой веры. Идея эта захватывает человека целиком, и он способен пожертвовать собой во имя ее. Ср. «Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается» [5. С. 143]. Идея, которой служит Павел, организует общую характеристику персонажа таким образом, что он стремительно приближается к агиографическому герою, даже совпадает с ним по некоторым параметрам, правда, второстепенным, но таким, без которых образ мученика, святого не мыслился.

Идею Павел почерпнул, подобно герою жития, из канонизированных текстов. Его Священным Писанием оказываются книги — романы Горького, Дж. Лондона, Э. Войнич, Р. Джованьоли. «Овод», «Железная пята», «Спартак», «Гарибальди» — вот список сочинений, по которым Павел строит свою жизнь, не отступая ни на шаг от эталонов, ни в отношениях с любимой женщиной, ни на операционном столе, когда он преодолевает боль. Откуда у него это упорство? — спрашивает врач. «На мой вопрос он ответил: — Читайте роман „Овод“, тогда узнаете» [5. С. 162]. Этот список дополняется «Капиталом» Маркса.

Идея поддерживает Павла в труде. Он не просто трудится, а совершает подвиг труда, кульминация которого — строительство узкоколейки. С одной стороны, перед нами картина нового отношения к труду, с другой — заметим, и прообраз лагерной жизни. Но что еще более важно, Н. А. Островский подчеркивает в этом подвиге те, казалось бы, второстепенные для осуществления цели черты, которые выстраивают тайную параллель Павла со святым. Настойчивое упоминание о голоде и холоде позволяют

вспомнить изнурение, которому подвергали себя мученики хладом, голодом и бдением. Хождение босиком по снегу (на самом деле порвалась обувь, потерялась калоша) — также знаменательно, как и нарочитая грязь, не посещение бани [9]. Павлу есть что преодолевать, но он не стремится ликвидировать помехи, мешающие достижению цели. Эти препятствия лишь оттеняют цель.

Трудясь, Павел постоянно забывает о своем телесном облике. Он не жаждет здоровья, пересиливает себя, преодолевает множество недугов. Он дважды перенес тиф, ранен в бедро и в голову, в спину, пережил автостраффу, не раз бывал «около смерти». Четыре раза задерживался на границе двух миров, однажды все поверили в слухи о его смерти. Он теряет способность двигаться, сплпнет, живст только идеей и волей к победе. Подробное описание, или перечисление физических недугов не должно, по мысли автора, вызывать жалость к герою. Настойчивое упоминание о них создаст впечатление, что и для Н. А. Островского болезнь оказывается важным знаком служения — только не Богу, а идее. Так было в агиографических сочинениях, например, о Пимене многоболезненном, который двадцать лет лежал в монастыре и встал только перед кончиной поклониться гробу Антония Печерского. Другие агиографические персонажи молились о том, чтобы «сподобиться им занедужить». Таким образом, тема болезни, телесных страданий возвеличивает героя, позволяет представить его силу воли, презрение к смерти.

Аскеза Павла, не стремившегося к радостям жизни даже когда здоровье не изменяло ему, распространяется и на отношения с женщинами. Для него не существует земной, плотской любви. Он отказывается последовательно от всех женщин, влюбленных в него, и требует от них единения в вере. Ср. «А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким» [5. С. 164]. Он ведет себя как персонаж, давший обет безбрачия, девства: «Я, маманя, слово дал себе дивчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим» [5. С. 225]. Перед нами новый вариант житийной темы, например, ср. жития Моисея Угрина, Алексия человека Божия. Мнимые же большевики, не исповедующие новую идею, как Чужанин, Развалихин, легко вступают в связи, разрывают их. Следовательно, для Н. А. Островского это также важная черта идеального, совершенного человека.

Павел — противник всяческих развлечений, мешающих служению идее. Подобно агиографическим персонажам, «на игры с инем не исхожааше». Вечеринка приводит его в ужас, неистовый гнев вызывает выступление артистов в санатории. Он не желает слушать неприличные анекдоты и вообще всегда только серьезен. Беззаботное веселье страшит его, как некогда гонителей «сопелей скоморощьих». Последние были уверены, что веселящимся — прямая дорога в ад. Павел такого умозаключения сделать не может, но его кодекс поведения все-таки ближе к сакральному, а не светскому.

Он одевается плохо, бедно. Конечно, времена не располагали к другому стилю, но Павел и не стремится выглядеть иначе. Он с достоинством носит «худые ризы». Только отрицательные персонажи романа наряду с флиртом позволяют себе одсколон, галстук и проч. И здесь он разительно напоминает великие образцы, которые облекались в рубище и вретиче и усматривали в нищете тайное величие Господа.

Примечательно, что Н. А. Островский, почти равнодушный к описаниям человеческих взаимоотношений, выводит в романе отношения Павла с матерью, которые как бы повторяют известный житийный штамп. Павел борется с матерью за право служить революции, отказывается ее видеть, не разрешает ей проводить себя. Этот мотив отталкивания матери проходит

через житие Симеона Столпника, Феодосия Печерского, Феодора Освященного и др. [10].

Итак, аскеза, пост и труд, алкание и бдение в день и ночь органически вписываются в характеристику одного из первых героев соцреализма. Павел незаметно продолжает галерею праведников и мучеников, но только будучи лишенным таких важнейших свойств как смирение, сострадание, любовь к ближнему. Очевидно, что Н. А. Островский бессознательно воскресил давний архетип и ввел его в образ своего героя нового времени, но выполняя требования этого времени, требование сакрализации идеологии и политики.

СОФРОНОВА Л. А., д-р филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Парамонов Б.* Горький, белое пятно//Октябрь. 1992. № 5.
2. *Лосский Н. О.* Характер русского народа. М., 1990. Кн. 2. С. 50.
3. *Исиченко Ю. А.* Киево-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI — початку XVIII ст. на Україні. Київ, 1990. С. 15.
4. *Твардовский А. Т.* Записные книжки//Знамя. 1989. № 6. С. 15.
5. *Островский Н.* Как закалялась сталь. Петрозаводск, 1961.
6. *Бердяев Н. А.* Смысл истории. М., 1992. С. 132.
7. *Федотов Г. П.* Эссе homo — о некоторых гонимых «измах». — Новый град//Образ человека XX в. М., 1988. С. 53.
8. *Кавелин И.* Имя несвободы//Вестник новой литературы. № 1. М., 1990. С. 178.
9. *Палякова С. В.* Византийские легенды как литературное явление//Византийские легенды. Л., 1972. С. 260.
10. *Федотов Г. П.* Святые древней Руси. М., 1990.

ГУСИТСКИЕ ПЕСНИ И «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»: К ТИПОЛОГИИ ТЕКСТОВ

Желание сопоставить два вида гимнов — «Интернационал», появившийся в 1888 г. и ставший с 1902 г. неотъемлемым компонентом «пролетарской» культуры в России, а затем социалистической культуры в СССР, и наиболее распространенные гуситские песни, возникшие в начале 20-х годов XV в. в Чехии как гимны первого этапа гуситского движения, в котором были сильны элементы революционности, возникло в связи с размышлениями об общей типологии революций в ареале христианской культуры, о месте и значении религиозного типа сознания в революционной идеологии. Поэтому вопрос о правомерности сопоставления столь далеко отстоящих друг от друга текстов решается интегрированием его в проблему типологии революционных движений. Обнаруживая общие черты в самих исторических феноменах, можно предполагать общие идеологемы в гимнографии этих движений.

Из гуситских песен для дальнейшего анализа взяты две наиболее знаменитые: «Восстань, восстань, великий город Пражский» и «Кто есть божья войны» [1. С. 322—325]. Рассматриваемые два исторических вида гимнов массовых движений в своей идеологической основе имеют доктрину хилиазма как конечного светлого будущего человечества. Сейчас много говорится о христианских истоках социализма и обслуживающего его типа культуры. (Следует подчеркнуть, что эти истоки находятся всецело в сфере христианских *ересей*, поскольку установление мира справедливости на земле мыслилось и гуситскими леворадикалами, известными в истории как та-

бориты, и пролетарскими революционерами XIX в. как дело рук народа — «своею собственной рукой»). В доктрину гуситского хилиазма входило физическое уничтожение всех «врагов божьей правды», поскольку царство божье на земле с его принципом всеобщего равенства и справедливости может быть установлено только после истребления «грешников» руками «божьих воинов», ибо не обгагривший меча не спасется. В гуситском хилиазме и родственных ему освободительных движениях отклонение от христианского прообраза начинается именно с фактора *насилия* как «повивальной бабки» и «локомотива истории». Поэтому подчеркивание насильственного характера установления мира справедливости присуще всей революционной гимнографии. Действительно, если в «Интернационале» содержится прямой призыв разрушить весь мир насилия своею собственной рукой, то аналогичное построение можно проследить и у гуситов. И «Интернационал», и один из главных гуситских гимнов начинаются словом «вставай/восстань». В обоих случаях восставшие — это *армия*: «всемирная великая армия труда» и «божьи воины». Militarизм здесь отнюдь не только символический. Это конкретное воплощение общественной организации эпохи борьбы со старым миром, миром несправедливости. Этот мир заклеямен «проклятьем», у гуситов он греховен, следовательно, тоже проклят. Обоим текстам присущ мотив *прямого боя*, физической вооруженной борьбы. Большая часть песни «Кто есть божьи воины» посвящена именно ведению боя и поведению воинов. Здесь важнейший совет — «крепко держать оружие в руках».

В обоих случаях это бой последний, решительный, следовательно, смертный. У гуситов особенно акцентируется мотив «смерти за правду». Следовательно, борьба в обоих текстах трактуется эсхатологически. Естественно, она *жертвенна*. Если пролетарии падают «жертвами в борьбе роковой» и «как один» умирают «в борьбе за это» (судя по текстам других памятников революционной гимнографии), то гуситы «кладут свои жизни за любовь к ближним». Награда за пожертвование своей жизни в «Интернационале» философски космична: ничто трансформируется во все, становясь таким образом не только доминантой общества, но и единственным веществом социальной жизни, следовательно, детерминируя ее будущую гомогенность. У гуситов награда традиционно религиозная: «вечная жизнь», так как «сам Христос оплатит за лишения». Но в системе христианских понятий вечная жизнь во Христе — это и есть «стать всем», но лишь в посмертном существовании. Здесь воздаяние, награда за жертву на этом или на том свете существенно разграничивает анализируемые феномены.

Следующее сопоставление: *кто* именно борется. Если в «Интернационале» это определено четко («весь мир голодных и рабов»), то у гуситов дело обстоит сложнее. Там носители борьбы — «божьи воины», «верные». Это понятия, делящие социум по религиозному принципу. В них интегральной частью входит понятие «правды», имеющее ряд социальных аспектов. Если учесть, что в период создания песен радикальные гуситские проповедники ожидали установления мира справедливости, где не будет «ни панов, ни подданных», где все будут «братьями и сестрами», а также принять во внимание конкретные исторические исследования состава таборитского войска, то «божьи воины» оказываются теми стратами, которые ощущали себя в той или иной мере социально ущемленными. В песне «Восстань, восстань, великий город Пражский», где нет выражения «божьи воины», для обозначения восставших используется библейский образ «покоренного народа», т. е. в определенном смысле «раба».

«Божьи воины» постоянно апеллируют к Богу как к цели и источнику своей борьбы. Однако полагать на этом основании, что избавление им даст Бог (что, как известно, прямо отрицается в «Интернационале»), было бы прямолинейным. Табориты, конечно, с божьей помощью, должны победить

сами, своими руками очищая землю от врагов божьей правды, подготавливая тем самым второе пришествие и тысячелетнее царствие Божье на земле. Поэтому неслучайна формулировка «воюйте с Богом и за него», т. е. табориты идентифицируют себя с орудиями божьего промысла, который они уже осуществляют своими собственными силами. Таким образом возникает узкий круг борцов за истину в море врагов. Для гуситов в целом характерен групповой мессианизм, что также присуще пролетарскому движению и его самосознанию. Именно этот тип мессианизма войдет потом в канон социалистического реализма.

Теперь посмотрим; *против кого* идет сражение. В «Интернационале» — против «мира насилия», «паразитов», «своры псов и палачей», по терминологии другой пролетарской песни — против «беснующихся тиранов». Гуситы воюют «против вавилонского царя», под которым имеется в виду конкретная фигура — император Сигизмунд Люксембург, наследник чешского трона, стремившийся привести гуситов к покорности. Он сравнивается с библейским Олоферном — тираном, завоевателем и покорителем иудейского народа. В гуситской песне богоизбранным народом становится чешский, поэтому Прага называется «городом иерусалимским». Миссия чехов аналогична Юдифиной — убить тирана-угнетателя «общины верных». Далее гуситский гимн, продолжая библейские сравнения, призывает к свержению ложных богов и царей-поработителей: «Разрушь статую Навуходоносора, медного змия, которого чтят превыше Бога». «Интернационал» — без библейских образов — призывает «свергнуть гнет рукой умелой».

Еще одна параллель рассматриваемых феноменов — солярная символика. «Интернационал» кончается утверждением: светопредставление для угнетателей станет для угнетенных солнцем, сияющим «огнем своих лучей». Хотя в гуситских песнях солярный мотив отсутствует, но он четко выражен в культуре предгуситского периода. В живописи это сюжет «жены, одетой солнцем»; в официальной хронистике — провозглашение чехов «солнечным народом». Таким образом солярный мессианизм богоизбранных верных чехов — воинов божьих — типологически родствен мессианизму пролетарскому.

Интересно, что в «Интернационале» социальная идентификация образов противоборствующих сторон, как ни странно, минимальна. Восстают «рабы», «работники». Эжен Потье явно предпочитал поэтическую образность социологической точности. Аналогично поступали и авторы гуситских песен, использовавшие библейские образы.

Гуситские песни «Кто есть божьи воины», в которой З. Нееды находил «целый идейный и чувственный мир божьего воина», и «Восстань, восстань, великий город Пражский», по его же определению — песня, дышащая воодушевлением, фанатизмом и ненавистью [2], по своему стилю, по строфике и мелодии являют тип *народно-религиозной боевой песни-гимна*, в отличие от чисто религиозного немецкого протестантского и гугенотского хоралов и народно-босвой «Марсельезы». Аналог гуситским песням в историко-культурной перспективе видится лишь один — «Интернационал» Потье — Дегейтра.

Подводя итог нашему сравнению, можно заключить, что ответы на вопросы кто, как, за что, против кого борется, что разрушает, и в «Интернационале», и в гуситских песнях имеют много общего. Очевидно, это некий архетип борьбы мессианского характера. Конечно, оба феномена имеют большие различия. Однако одна из идеологем — борьба за правое дело, своеобразный революционный милитаризм, с которыми идентифицируются цели и сами протагонисты движения — во многом определяющая, является общей для этих текстов. Это борьба за справедливость, которую группа людей, аутоидентифицируемая как авангард, устанавливает от имени некой всеобщности посредством насилия.

Рассмотренное явление, которое в свете христианской традиции можно назвать еретической гимнографией, следует в определенной мере считать одним из источников и составных частей гимнографии социализма и, соответственно, социалистического реализма, прежде всего источником такого эстетически-идеологического феномена как массовая советская песня (не путать с поп-культурой!), считавшаяся в официальном советском музыковедении (Б. М. Ярустовский и др.) основным проявлением соцреализма в музыкально-песенном жанре.

МЕЛЬНИКОВ Г. П., канд. ист. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Výbor z české literatury doby husitské. D. I. Praha, 1963.
2. Nejedlý Z. Dějiny husitského spevu. D. IV. Praha, 1955. S. 319—321, 328—348.

СОЦРЕАЛИЗМ КАК ЯЗЫЧЕСТВО

(к вопросу о социалистической мифологии)

Вынесенная в заголовок тема может трактоваться по-разному: языческое «человекобожество» социализма, связь советского искусства с неоязыческими построениями символистов и их наследников, присутствие на периферии официоза попыток воскресить язычество (И. Ефремов, Ю. Кузнецов и т. д.). Многие из этих явлений давно отмечены и осмыслены философами, учеными и критиками.

Мы попытаемся, исходя из постулата о религиозной природе социализма и обслуживающей его литературы, описать соцреалистическую мифологию такой, какой она предстает в лирике болгарского поэта Пенью Пенева. На наш взгляд, именно религиозно-мифологический элемент соединяет фрагменты гетерогенных и гетероморфных художественных систем (классической скульптуры и архитектуры барокко, парадного портрета XVIII в. и реализма передвижников, толстовских эпопей и житийного канона и т. п.) в нечто целое и единое, именуемое соцреализмом.

Выбор материала обусловлен несколькими соображениями. Во-первых: Пенев пишет о радостях свободного труда, — тема, быть может, наиболее специфичная для соцреализма. Во-вторых, перед нами поэт безусловно искренний («поэт в телогрейке», сам строивший Димитровград) и безусловно талантливый (просим читателя иметь это в виду: цитируемые подстрочники не позволяют об этом судить). Наконец, он воспринял соцреализм «в чистом виде»; в отличие от Маяковского, например, он не отягчен культурным наследием предшествующих эпох³.

1. Космология

В начале был Хаос. Он, собственно, никогда и никуда не исчезал, коренясь в природной данности, он постоянно напоминает о себе: «Мой

³ Реликты традиционного (крестьянского) мировоззрения иногда ощущаются в его поэзии; их столкновение с социалистической мифологией порождает весьма непростые коллизии, из которых рождается трагизм поздней лирики Пенева. Здесь эти локальные возмущения системы рассматриваться не будут, наша задача — описать систему.

больной двухнедельный сын... // Мир ему еще незнаком, // но уже с первой недели // этот маленький слабый человечек // узнал боль, и болезнь, и холод... // Как печален и тревожен этот мир! // Как страшно на его путях // жизнь проживать по рецепту!..» («Тясна кухничка в здрач полусин...»).

Этот хаос царит там, на Западе, угрожая «нам»; он и «здесь» царит в душах людей, не принадлежащих к «нам», — строителям нового мира⁴, он пытается сорвать созидание нового мира-Космоса «новым Адамом» — «свободным человеком свободного труда». Западным бизнесменам Пенев предлагает: «Придите и посмотрите! ⁵ Вот он, владыка // сидящий на троне из упорства, / мечтаний / и бетона! // Его могучий стан прям, / а руки сжимают // не жезл, / а кирку, / молот / и пилу! (...) Здесь / любая трудность / в плену у него // в неприступных крепостях — / за заводскими стенами. // По закону труда // под своим владычеством // собравший все радости, // бессмертный навеки, // бдит / и творит / он — / Его Величество // Человек!».

«Его Величество» — это, конечно, не «он» и не «я», а «мы», это Адам, вмещающий и — в данном случае — спасающий все человечество от власти Хаоса. Всякое отпадение от этого священного «мы» губительно, вне его душа «гниет», а жизнь теряет смысл. Спасение добывается трудом — поэтому царскому и жреческому жезлу соответствуют молот, кирка и пила; Космос строится на месте Хаоса — поэтому бетон, материал этого строительства, сакрализован.

Строящийся Космос обязан своим происхождением Божественному браку Болгарии с молодым веком коммунизма; их первенец — Время строительства (стихотворения «Небывалата сватба» и «Земята ще бъде родилка»). Другой вариант того же мифа представляет Болгарию женихом, который, подобно Крали Марко народного эпоса, скачет к своей невесте — Небывалой Весне, сиречь новой эпохе (стихотворение «Хора, на път!»), которую, впрочем, еще предстоит добыть в тяжелых боях. Здесь же находим древнейшее уравнивание труда, битвы и брачного соития: «Мы добыли нашу весну нехныканьем, // а в тяжких сражениях! (...) // Мы заплатили за нее / боевыми потерями / и потом, // в жару, / в дождь, / в мороз!» Ср. также: «Дышит завод / и гудит // в неустанной работе; // он ровесник моему сыну, // что недавно начал ходить...» («Заводът»).

2. Антропология

Интимнейшее родство человека и Космоса заключено в понятии труда. Труд создает из Хаоса Космос, он — живой первоисточник бытия (стихотворение «По-добре не го раждай!»). И одновременно труд — источник всех человеческих чувств (он порождает дружбу, он равновелик и — в определенном смысле — равен любви и т. п.) и залог грядущего преображения человечества: «Наша любовь к драгоценному младенцу⁶ // к братству / нам

⁴ Ср. в стихотворении «Эпоха»: «...День становится / душным, // воняют прогнившие души, / и коварство, / и грязь. // Приходится слушать слова, / которых не хочешь слушать, // приходят к тебе / те, кого не приглашал! // Наполни ветром свой рот, / а мозги — глупостью, потому что — берегись! — / вон тот / прячет в кармане / камень — // и готов / тебе голову / им проломить, // если покорно не склонится / перед гнусным обманом...».

⁵ По-болгарски «Елате и вижете!», что отсылается к хрестоматийному стихотворению Вазова «Елате ни вижете!» («Придите и посмотрите на нас!»), прославляющему стойкость болгарского духа в любых испытаниях.

⁶ Т. е. к времени строительства. — В. Н.

укажет путь. И люди, / навеки сближенные сю, // будут счастливы, / будут добры!» («Земята ще бъде родилка»).

Итак, новый человек прежде всего — упорный и мужественный работник. Другой его неотъемлемый атрибут — мечта (се субституты — вера и песня). Похоже, Пенев убежден, что единственный закон природы гласит: «Мечтайте, и дасться вам», ибо все прочие законы труд и мечта могут изменить или отменить. «Перед нами день, // озаренный нами! (...) // Уже законом природы // становится наша воля: // заставим цвести / единственное время года, // время / весны человеческой!»⁷ («Прокламация»).

Подвиг, к которому призван человек — обуздать свою жизнь, поставить ее на службу Истории. Бессмертие достигается растворением в истории, что, в свою очередь, требует «воли к счастью», т. е. способности мечтать и готовности к борьбе. История есть осмысленное время, и она плодотворна, время Хаоса, напротив, безлично и разрушительно. Человек должен «запрячь свою жизнь / в телегу времени // по-хозяйски усевшись / на облучке дней, // чтобы звучал / шум колес на пути // в желанные дали!» («По-добре не го раждай!»)

В этих «желанных даях» магия труда и воли преобразила самую суть мира, она создала на месте мира враждебного и хаотичного мир счастливый и упорядоченный. Мир природный отбрасывается за ненужностью: в Димитровграде весна, хотя по календарю уже октябрь, расцветают не цветы, а фасады новых домов, вместо пения птиц — скрипение подъемников, вместо солнца — ТЭЦ, гремит не весенний гром, а бодрые марши, земля же заменена бетоном и железом, и пахнет над нею не розами, а бензином, асфальтом и смолой... Металлический скрежет и запах смолы выдают природу этого рая: рай, выполненный *in ferro*, оборачивается *Inferno*.

НИКОЛАЕНКО В. В.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ: ЕГО ТВОРЦЫ И АУДИТОРИЯ

Рассмотрение социалистического реализма с историко-культурной точки зрения не позволяет свести проблему к отношениям «интеллигенция — власть». Коль скоро мы подходим к социалистическому реализму как к типу культуры, нельзя упустить из виду отношения «творец — публика». Можно, конечно, агитационную лампочку Ильича, в которой светящийся проводник представлял собой профиль Ленина, трактовать как образец чистого концептуального искусства, но не будет ли такая интерпретация, не учитывающая представленный тех, кто смотрел на эту лампочку, мягко говоря, неполной? Точно так же вряд ли имеет смысл забывать о том, что произведения социалистического реализма — романы, повести, фильмы и т. д., активно «потребляли». Клише из романа «Как закалялась сталь» до сих пор сохраняются в массовом сознании. Лично я помню затрепанные библиотечные экземпляры производственных и колхозных романов. И сегодня роман А. Иванова «Вечный зов» продается на книжных лотках за

⁷ Такое возрождение космических утопий через 30 лет после Хлебникова и Заболоцкого подтверждает неслучайность их появления. Показательно насилие над языком: глаголы «рассветать» и «расцветать» становятся переходными и приобретают пассивные формы (буквально «Мы расцветем... сезон» и «день, расцветенный нами»), как бы демонстрирующее возможности волевого императива.

немалую сумму. Канули в Лету и социалистическая культура, и советское общество, а «Вечный зов» все живет!

Проблема советской культуры во многом обусловлена культурно-антропологическими характеристиками ее потребителей, а таким образом и со-творцов произведений социалистического реализма. Что это был за человек? Называли его по-разному: в 20-е годы — «новым человеком», в 30—50-е — «простым советским человеком», а когда корабль советской цивилизации пошел ко дну — «совком». Все это — разновидности человека-массы в его советском варианте. Человек массы «нов» и «свеж», поскольку все новые и новые эшелоны этих людей выходят на поверхность исторической жизни. Но в то же время он стар, ибо рождается на расколах и трещинах традиционных общественных структур и культур. Трудно приуменьшить значимость изучения именно массовых процессов для советологических исследований. Ведь в советском обществе элитарная культура маргинальна, а массовая — центральна, если вообще можно говорить о «центре» применительно к массовым процессам. Специфика советского общества и состоит в том, что оно, по определению социологов, является «обществом низшего класса»: хозяева уехали или лишились общественного голоса, слуги остались. Советское общество было иерархическим, но его «верхи» — это поднявшиеся «низы». «Низы» — продукт распада традиционного общества, масса — нечто бесформенное, но ищущее формы. Отличительная особенность сознания людей, которые уже не живут по нормам традиционного общества, но не в состоянии жить соответственно требованиям сложных обществ — простота. Эти люди жаждут всеобщего равенства, «хорошее» общество представляют себе как простую, без посредников систему отношений между вождями и массой. Их сознание нерелексивно, и выход из кризисов находит путем перебора вариантов, к которым подходит с одной и той же архетипической схемой. Они как бы начисто лишены исторической памяти. И при этом их не лишали свободы: они ее попросту не знают, равно как не подозревают о ценности индивидуальности. Они не различают жизненных и символических слов, не замечают бриколажа текстов, не замечают их противоречивости, а потому легко попадают в ловушки идеологии. Эти люди — и жертвы и палачи. Они — публика соцреалистических произведений.

Для понимания взаимодействия творцов соцреализма и публики важно учитывать прежде всего процесс перехода массы населения к городскому образу жизни. Советские романы-жития новых святых, романы-инициации, сказочные нарративы советского кино — функциональный аналог городской массовой культуры с ее полицейским романом и романом-фельетоном, которые также были учебником городской жизни. Модернизация — всегда трагедия. Не следует поэтому забывать: соцреалистические произведения были не только «опиумом для народа», но и смягчали кричащие противоречия жизни, адаптировали, давали опору, были школой новых норм. Примеры исследований такого рода известны. Следует прежде всего назвать работу В. Данэм «В сталинские времена. Ценности среднего класса в советской прозе». Отечественные работы такого рода — пока дело будущего.

Нельзя не заметить, что ведь и творцы соцреалистической культуры не прилетели в СССР с Марса. Средний соцреалист — тоже человек-масса. Недавно Дм. Галковский обратил внимание на пародийно-графоманский, комический, на современный взгляд, характер средней, массовой соцреалистической поэзии [1]. Хорошую поэзию советского периода он называет «несоветской». Приводимые Дм. Галковским тексты обнаруживают сходство со стихотворениями, которые известны средствами массовой информации по современной читательской почте или с «Письмами к писателю» М. Зощенко. Прослеживает удивительное стилистическое и тематическое сходство — любовь к вождям, образы врага, производственная проблематика, наивно-романтическое отношение к жизни. Вот — приводимое Дм. Галковским

стихотворение профессионала: «Пять букв!/Я встретил их огни живые,/В далекий мир, как верный друг, войдя,/Есть в Праге домик Ленина/В Софии/Проспект назвали именем вождя./Назвать бы землю,/Целую планету,/Его прекрасным именем могли/По праву мы.../Со мной согласны в этом/Трудящиеся всей земли». («Имени Ленина», М. Лисянский). Следующее стихотворение было прислано читателем М. Зоценко: «Глаза/И в глаза гляжу,/В глаза карие./Словно солнце они/Сияют./И смеются всегда,/Чуть прищурясь,/И зорки — далеки/Те глаза./То глаза Ильича,/Вождя милого,/Не простые глаза,/А партийные./Видит он далеко/И любимы они/Словно солнышко;/Лишь буржуи одни/Ненавидят их.../Посмотрю в глаза/На прищуренный взгляд,/И так радостно мне.../И тяжело душе./Почему тяжело?/...Потому, что их нет,/И лишь сотни таких/Заменили одни/Ильичевы глаза...»

Нижеприведенный образец современного самодельного творчества прислан в 1989 г. в журнал «Огонек»: «Я пишу о рабочем народе/Те, что ленинским курсом живут,/Я частенько бываю на взводе/Против тех, кто врагами зовут./Они линию злую диктуют,/Создают показуху, развал,/Они партию так атакуют,/Но мы выдержим весь этот шквал!/Люди жить будут не по указке,/Хоть не скоро то время придет,/И исчезнут позорные маски,/И период застоя пройдет./Верят ленинским люди заветам,/Верят партии нашей родной,/Верят честности наших советов/И гордятся великой страной».

Сходство соцреалистических текстов и «самодельной» лебядкинской поэзии симптоматично. И те и другие явно пребывают за пределами эстетического суждения, но зато воспроизводят сущностные структуры массового сознания. Нетрудно представить себе: только что научившийся читать и писать человек заканчивает как «пролетарский элемент» рабфак, затем Литинститут и становится автором. Эти «авторы» были разными людьми. Одни представляли старый тип российского мечтателя на советской почве, из тех, кто на место икон вешал портреты Маркса и Розы Люксембург, а по праздникам, одевшись в чистое, читал энциклопедический словарь. Другие — прагматики, одержимые торопливым желанием хорошо пожить, стремящиеся соответствовать новым правилам и творить новые нормы. Изучение деятельности этих людей и ее плодов побуждает порою счесть их не столько злонамеренными, сколько невменяемыми, не ведающими, что творят, не связывающими причин и следствий собственной активности. История предъявляла требования, для них непосильные. Вопрос о вине, о степени злонамеренности, о морали возникает лишь в случаях обращения к деяниям тех, кто ведал, что творил, как А. Толстой, Г. Александров или С. Эйзенштейн.

Можно задать вопрос, чем же различались творцы и публика соцреализма? Первые, как правило, были приобщены к очередной волне российского просвещения, к вере в рациональное переустройство мира, человека и его сознания. Публика — архаична, архетипична, мифологична. Она овладевает новыми словами как магическими отмычками реальности. Но как только происходят кардинальные общественно-политические изменения (например, на закате социалистической идеологии), публика вновь оказывается в мире вечно живых, так называемых классических мифов. Хотя, впрочем, такие ведущие мифологемы, как любовь, надежда, золушка, судьба, жертва, испытание прослеживаются и в соцреалистическом искусстве.

В заключение — еще об одном следствии вышеупомянутых массовых процессов. Новаторские стилистические открытия М. Зоценко и А. Платонова, обериутов и Вагинова связаны с погружением в новую жизненную и языковую среду, в которой представители старой культуры оказывались «людьми-мотыльками». А. Платонов, как свидетельствуют его ранние работы, в молодости сам был подобен своим героям, свежим и наивным. Он верил в истину, последнюю и завершающую, в то, что сознание — сущность

пролетария. Каким образом он стал известным нам писателем Платоновым — одна из человеческих загадок. М. Зощенко покинул мир литературы для «интеллигентных людей», ощутил невозможность «дописывания» на языке Л. Андреева. Это искусство, порожденное теми же социокультурными процессами, что и соцреализм, никогда к соцреалистическому лику причислено не было и, более того, считалось подозрительным и социально не одобрялось.

Поместить социалистический реализм в широкий и глубокий культурно-исторический контекст значит задать себе вопросы, которые кажутся неудобными, которые не совсем вписываются не только в старые, но и в новые идеологии. Отвечать же на эти вопросы нужно, если мы желаем уважать собственную историю во всей ее сложности.

КОЗЛОВА Н. Н., д-р философ. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Галковский Дм.* Поэзия советская//Новый мир. 1992. № 5.

ИСТОКИ И МУКИ СОЦРЕАЛИЗМА

При создании типологии культур наметилась тенденция рассматривать советскую культуру как тоталитарную и ставить ее в один ряд с национал-социалистической в Германии.

Действительно, у них есть общие «структурные элементы», вытекающие из апологетической функции искусства в условиях тоталитарного государства. К ним относят театрализацию действительности (смешение лжи и правды, зыбкость границ между фикцией и фактом), тотальный реализм («социалистический» в СССР, «героический» или «идеальный» в Германии), монументализм (прежде всего, в архитектуре), классицизм, народность и т. д. [1].

Но, фиксируя сходство, нельзя увлекаться аналогиями, к которым толкает не только трезвый анализ, но и эмоциональное стремление расчитаться с нашим тоталитарным прошлым. Анализируя и сопоставляя, нельзя не учитывать, что корни у фашизма, питавшего национал-социалистическую культуру, и у социализма, определявшего критерии культуры советской, — разные. Они — на полярных нравственных, ценностных полюсах. Даже в период разочарований в социалистическом вероучении нельзя забывать, что в основе его — идеи гуманистические, христианские, в которых аккумуляровались стремления к справедливости, равенству, братству, к царству божьему на земле, где бы самые униженные и убогие обрели благоденствие и защиту. В основе фашизма — культ не справедливости, а силы, расизм, идея санации человечества через избавление от неполноценных рас и элементов.

Социализм тоже породил много зла при своей реализации. Но преступления советского государства, где «насилие» из «повивальной бабки истории» превратилось в инструмент внутренней политики, совершались как бы вопреки и в нарушение исходной гуманистической идеи. Преступления гитлеровской Германии логически вытекали из идеологии фашизма — изначального, абсолютного зла.

Пражская весна 1968 г. выдвинула лозунг «социализма с человеческим лицом». Попыток создать «фашизм с человеческим лицом» история не знает. Социалистическое переустройство мира с конечной целью комму-

нистического благоденствия, где каждый получит «по потребностям» — это утопия, обернувшаяся при своей реализации антиутопией. Фашизм к утопиям не отнесешь.

Социализм, как и христианство (и другие великие религии), возник на пути человечества к самоусовершенствованию, к гуманизации общественных отношений. Фашизм же, и национал-социализм несет в себе явное патологическое начало, симптомы нравственной деградации части рода людского. Если социализм изначально ближе к Христу, то фашизм — к Антихристу.

В конце XIX в., когда социалистическое учение набирало силу, оно воспринималось многими, как «последняя надежда» сторонников обновления религии, как попытка реализовать именно те идеалы, которыми церковь привлекала людей. «Социалистические идеи призваны ... обновить религию будущего и придать ей новые силы ... Великие религии мирового значения — буддизм, христианство были сначала социалистическими, проповедовали раздел имущества, всеобщее равенство; и в этом одна из причин их стремительной популярности. Но как только они распространились по свету и настал период их самоутверждения, они вернулись к индивидуализму и, противореча самим себе, стали обещать равенство лишь на небе или в нирване», — писал французский философ Ж.-М. Гийо (1854—1888) и предупреждал об опасности масштабного социалистического эксперимента. «Социализм неосуществим и утопичен, потому что хочет подчинить себе все общество, а не его небольшую часть. Он хочет стать государственным социализмом ... Будущее же социалистических учений, как и религиозных доктрин, связано, наоборот, с обращением к небольшим группам ... Как признают его убежденные сторонники, социализм требует от своих адептов для своей реализации определенного комплекса добродетелей, коими могут обладать лишь считанные сотни людей, а не миллионы ... Социализм уничтожил бы сам себя, если бы захотел стать универсальной системой в масштабах целого государства» [2].

Классики марксизма заставили поверить в возможность масштабных экспериментов. Среди таких верующих были и деятели культуры XX в., которым теперь приходится расплачиваться за это резким падением своего рейтинга, хотя вера в «социалистические идеалы» — не вина, а драма людей. В основе ее — противоречия между человеческой сущностью этих идеалов и бесчеловечными методами их внедрения в жизнь. Противоречия эти раскрылись не всем и не сразу, и кому-то не хватило целой жизни, чтобы их понять. Но именно гуманная социалистическая идея и стала одним из истоков социалистического реализма, который был порождением не советского строя и I Съезда советских писателей (там он обрел свое имя и статус метода советской литературы), а процессов революционизации искусства XX в., воодушевившегося весьма привлекательными идеалами. Тип социалистически ангажированного творчества получил распространение еще до октября 1917 и августа 1934 г. на обширном пространстве мировой культуры именно благодаря своим гуманистическим потенциям (или притязаниям). Заметим, что фашистская идея не пользовалась ни популярностью, ни широкой поддержкой в творческих кругах. Ведь «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Советский атеистический радикализм, ярая борьба с церковью (вплоть до уничтожения храмов, икон, священнослужителей) камуфлировали связь старой и новой религий. Пропаганда пролетарской революции как кратчайшего пути к «светлому будущему», теория классовой борьбы, большевистская тактика, где «цель оправдывает средства» — заставляли противопоставлять социализм христианству с его заповедью «не убий». Но ведь и церковь отступала от этой заповеди. За сферы влияния она боролась не одним проповедническим красноречием, а «огнем и мечом» крестовых походов, кострами святой инквизиции. К счастью, период религиозного фа-

натизма и насильственного насаждения «новой веры» был относительно коротким в масштабах истории христианства. Мучения еретиков, равно как и муки за веру остались лишь в древних житиях, да в росписях на стенах храмов. Христианская церковь давно не ассоциируется с насилием, как стал ассоциироваться с ним благодаря советскому опыту социализм. Однако сама идея «борьбы за новый мир» и уничтожения «мира старого» пришла в социалистическое общественное сознание из древнего мистического представления о том, что «новое» приходит не в результате простого развития, но что для него «надо освободить место», непременно уничтожив «старос». «Пророки рая часто были и пророками уничтожения, призывали разрушать, верили, что путь в рай, в вечное царство мира ведет через катастрофу сражения, в котором должны с оружием в руках участвовать правоверные. Эта идея присутствовала в учениях древнееврейских сект, проникла и в Апокалипсис и уже со средневековья влияла на религиозные общественные движения (гуситство, немецкую реформацию и т. д.). Катастрофа сражения на пороге „нового мира“, „последний и решительный бой“ стали также излюбленной составной частью социалистической эсхатологии, ее мотив стал главным мотивом „Интернационала“...» [3].

Вся история революционного движения и «строительства социализма» (в СССР и послевоенных соцстранах) воспринимается как затянувшаяся, перманентная битва со «старым миром» (с «эксплуататорскими классами», «пережитками прошлого», «врагами народа», «происками империализма» и т. д.), выдвинувшая своих героев и мучеников и сакрализованная искусством. Симптомы этой сакрализации можно разглядеть уже в библийском коде пролетарской литературы начала 20-х годов, особенно тех стран, где старая вера не искоренялась, как искоренялась в СССР.

Образ Христа лишь мелькнул в русской послеоктябрьской поэзии, осенив шествие новоявленных апостолов-голодранцев в знаменитой поэме Блока. А у Волькера образ Бога, бедного странника, пропавшего июньскими полями, — один из ключевых, как и образ «распятого сердца» у него же, как и жанр молитвы у С. К. Неймана, в буквальном смысле слова молившегося на «Советскую Русь», «нашу надежду и заступницу», «единственную звезду на темном небе».

Каковы эстетические корни соцреализма?

Сейчас пишут, что он вырос из русского авангарда (или из авангарда вообще). Возможно, хотя в Чехии авангард был в оппозиции к соцреализму, как искусству «традиционному» и «служебному». Но он также вырос из критического реализма и романтизма, из творчества русских революционных демократов и поэтов Парижской коммуны. У него множество истоков. Его подготовило оппозиционное — по отношению к существующим порядкам — начало, которое в той или иной мере проявлялось в разных направлениях. И говорит это не столько о несовершенстве этих порядков (хотя, какой порядок, какой строй можно считать совершенным?, но все познается в сравнении и неславистские некогда монархии, империи, буржуазные республики в свете драматического опыта XX в. выглядят вполне разумными формами бытия), сколько о достоинствах искусства, о его вечной боли за человека, о свободе и смелости «духа», вступающего в единоборство с «властью».

Но при общих корнях и истоках есть большая разница между зарубежным и советским соцреализмом.

«Искусство, которое служит власть имущим, каким бы замечательным оно ни казалось, всегда обнаруживало свою бесплодность и пустоту, потому что было лишено нравственного ядра» [4], — писал в 1923 г. З. Неедлы, связывая нравственность с нонконформизмом. Неедлы имел в виду искусство «буржуазной эпохи». Но те же критерии нравственности вполне применимы

и к другим социальным условиям. И скажем прямо: искусство «страны Советов» в массе своей этих критериев не выдерживало.

Зарубежный соцреализм 20—30-х годов, оппозиционный к режимам своих стран, имел определенную морально-этическую ценность (которую, впрочем, подтачивала классовая непримиримость). Соцреализм в СССР выполнял по отношению к своему государству пропагандистско-охранительную, апологетическую миссию. Он становился оплотом власти имущих, оплотом советского режима («подлого», — по определению С. Клычкова). Официальная литература, закрывавшая глаза на его противоречия и пороки, утрачивала нравственное ядро. Дух раболепно подчинялся власти. Идеализацией советской истории занималась и зарубежная литература, но это более простительно, ибо многое объяснялось неведением. Она воплощала взгляд «со стороны», затуманенный и советской пропагандой и собственным революционным романтизмом.

За рубежом соцреализм существовал в широком культурном контексте. Рядом с ним, взаимодействуя и споря, жили другие концепции. К нему приходили и с ним расставались в результате свободного выбора. (Так ушли от него в конце 20-х годов Я. Сейферт, К. Библ, Й. Гора, начинавшие в русле чешской пролетарской поэзии).

В условиях тоталитарного государства откеститься от соцреализма было небезопасно. Он внедрялся сверху как единственно допустимый метод «прогрессивного искусства», как истина в последней инстанции. Рожденный не без участия жизни, он затем стал подминать ее под свои догмы, породил целую систему канонов, идеологем, регламентирующих работу мысли, убивавших аналитический нерв искусства. Став инструментом и одновременно жертвой мифологизации советской действительности («мифотворчества масс» [5]), он перестал быть «реализмом», превратился в «социалистический романтизм» или «идеализм». Правда жизни из него ушла.

К счастью, не вся советская литература отвечала его канонам. В ней развивалось сильное «еретическое» начало. В СССР творили не только Д. Бедный, но и Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Ахматова; не только Ф. Парфенов, А. Фадеев, А. Тренев, но и М. Булгаков, А. Платонов, М. Зощенко, не только автор «Поднятой целины», но и автор «Тихого Дона».

Обычно художественные концепции (и методы) рождаются и умирают естественным путем. Ими управляет жизнь, развивающиеся потенции искусства и исходящие от реципиентов сигналы. Но тоталитарное государство, озабоченное «идеологическим воспитанием масс», насильственно задерживало жизнь соцреализма. Даже когда высыхали питавшие его родники, он лишен был возможности сойти со сцены, грозя превратиться в своего рода Агасфера, Вечного Жида советской культуры, приговоренного к мукам бессмертия.

Обреченность на соцреализм приводила к попыткам его модифицировать. Еще на I Съезде советских писателей Н. Бухариным был предложен его достаточно диалектический вариант, изменивший негативное отношение к соцреализму ряда зарубежных авангардистов, в частности В. Незвала [6]. Именно этот вариант был в середине 30-х годов поддержан революционной литературой Чехословакии, которую раскритиковала с рапповских позиций Харьковская конференция пролетарских писателей (1930). На фоне ее «удручающих итогов» и жестких пролеткультовских установок, бухаринский соцреализм показался чехам и словакам чем-то вроде шага вперед к здравому смыслу.

В СССР был официально взят на вооружение вариант Жданова, но и он расшатывался писателями и критиками, акцентировавшими «разнообразие стилей и форм» советской литературы. Кроме того, в ней были периоды, когда теория соцреализма регламентировала официальную жизнь литературы, управляла практикой (30—50-е годы). Но были и периоды, когда

практика стала управлять теорией, заставляя ее приспособляться к живому литературному процессу (60—80-е годы). С потеплением политического климата в СССР возникло толкование соцреализма как «открытой эстетической системы» (Д. Марков, Б. Сучков, Л. Тимофеев и др.), являвшееся попыткой — без посягательства на табуированное понятие «социалистический реализм», — отстоять, насколько это возможно, свободу творчества.

В последние годы соцреализм тормозил не практику, а теорию литературы. Многие советские писатели (среди них — Ч. Айтматов, Ф. Искандер, В. Быков, М. Астафьев, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Семин и т. д.) тихо освободили себя от соцреализма гораздо раньше, чем он был громко предан анафеме. Критики же и литературоведы долго опасались обнаружить что-то в советской литературе кроме него, причисляя к соцреализму то, что ему не принадлежало. И с освобождением от него свободно вздохнули прежде всего интерпретаторы искусства, громко и позитивно заговорившие о постмодернизме, авангардизме, концептуализме и т. д.

В заключение подчеркнем, что, может быть, не столько суть и характер художественной концепции, сколько условия ее существования, определяющие ее статус (степень ее официальности и обязательности для художника) решают, будет от нее вред или польза. В свободном обществе, допускающем борьбу мнений, даже идеологизированный соцреализм утратит свои устрашающие черты. В условиях политической и эстетической несвободы даже невинный и аполитичный *l'art pour l'art*, — если он придется по вкусу диктаторам и станет законом, — превратится в догму.

БУДАГОВА Л. Н., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гюнтер Х. Железная гармония (Государство как тотальное произведение искусства)//Вопросы литературы. 1992. Вып. I. С. 27—41.
2. Guyau M. Socialismus a ideál sociální//Moderní revue. Sv. I. Praha, 1895. S. 97.
3. Macura V. Štástiný věk. Symboly, emblémy a myty. 1948—1989. Praha, 1992. S. 20.
4. Nejedlý Z. Z české literatury a kultury. Praha, 1972. S. 233.
5. Маканич В. Квази//Литературная газета. 1993. 31 III. № 3. С. 3.
6. Будагова Л. Н. Витезслав Незвал и I Съезд советских писателей//Общение литератур. М., 1991. С. 181—224.

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» 1860 ГОДА

Сегодня может показаться тривиальной мысль о том, что искусство социалистического реализма возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку приходят в столкновение социалистический идеал и действительность, должное и сущее, схема и жизнь. Небесполезно, однако, опереться на данное суждение, когда речь заходит о литературных источниках этого, выражаясь гоголевским языком, стиля не стиля, метода не метода. Вопреки распространенному мнению, в России борьба «социалистического» и «реалистического» в литературе началась не с конца 1890-х годов, т. е. не на пролетарском этапе освободительного движения, а еще в 1860-е годы, когда социалистические идеи в стране стали впервые осуществляться на практике. За точку отсчета не следует принимать роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (как иногда происходит), так как он хоть и имел отношение к социалистическому идеалу общественного устройства, но — по крайней мере,

в момент появления на страницах «Современника» — не имел отношения к реальности. Не случайно общенародная революция, изображение которой новаторски привнесено Чернышевским в традицию утопического романа, рисуется писателем не в кровавых, а в розовых тонах («яркое розовое платье, розовая шляпа... в руке букет») [1]. Значимое отсутствие собственно революционных событий объясняется, с моей точки зрения, не столько уступками цензуре, сколько принципиальной авторской установкой. Никакого — или почти никакого — сражения между «социалистическим» и «реалистическим» быть не должно. Жизнь сдается без боя.

Как известно, огромный успех романа сопровождался массовым подражанием героям «Что делать?» как в быту (семейные «треугольники»), так и на «производстве» (организация «коммун», мастерских на началах самоуправления и т. д.). Вот с этого-то момента, когда «мысленный эксперимент» (Л. М. Лотман) Чернышевского в России стал повсеместно проводиться на практике, и следует, по-моему, вести отсчет возникновению предпосылок для формирования литературы социалистического реализма.

Главной «кузницей кадров» «социалистического реализма» 1860-х годов были прежде всего документальный очерк, вовлеченный в сферу «романного мышления», активизирующегося во время резких социально-экономических сдвигов (см. [2]), и сам роман — наиболее гибкий, пластичный жанр, исключительно чутко реагирующий на социальные и идеологические процессы эпохи. Любопытно, что в складывании элементов того, что в будущем назовут социалистическим реализмом, равное участие принимали как произведения авторов революционно-демократической ориентации («Трудное время» (1865) В. А. Слепцова, «Степан Рулев» (1864) и «Чужие меж своими» (1865) Н. Ф. Бажина и др.), так и «антинигилистические» романы («Взбаламученное море» (1863) А. Ф. Писемского, «Некуда» (1864) Н. С. Лескова, «Марево» (1865) В. П. Ключникова, «Бродящие силы» (1867) В. П. Авенариуса, «Панургово стадо» (1869) В. В. Крестовского). Дело в том, что у «пронигилистического» и антинигилистического романа было много точек соприкосновения: и те, и другие поднимали проблему «отцов и детей», критиковали бюрократизацию общества, сатирически изображали примкнувших к революционному движению и компрометирующих его случайных людей, а также — «нравственное разложение дворянства» (см. [3]) (достаточно сопоставить описание обеда в городском дворянском клубе по поводу сближения сословий из «Трудного времени» (см. [4]) и пира, заданного славнобубенским губернатором Гржиб-Загржимбайло в честь столичного гостя Икс-фон-Саксена (см. [5]), чтобы убедиться в сходном у столь несовместимых по своим убеждениям авторов отношении к торжествующим лицемерию и распаду). Близка и оценка времени как «тяжелого, смутного» — скажем, у Слепцова и Ключникова (см. [6]). Но и тогда, когда похожим событиям и лицам выносятся прямо противоположный приговор, романисты-«нигилисты» и романисты-«антинигилисты» формируют и изображают одни и те же общие места в смысле ситуаций, состояний, определяемых какими-либо обстоятельствами условий, в которые автор ставил героев для раскрытия характера, образов или для развития сюжета.

Можно условно выделить двенадцать основных топов «социалистического реализма» 1860-х годов, роднящих его с социалистическим реализмом XX в. (количество топов не трудно увеличить, но ограничимся здесь привычным для большинства апостольским числом): 1) «Два мира» — непримиримая борьба классовых интересов; 2) «Он хату покинул, пошел воевать» — отказ от прежних обычаев и родственных связей во имя идеи; 3) «Женщина и социализм» — приход в революцию встед за любимым человеком; 4) «Чужой среди своих» — незаурядный революционер-профессионал и простые смертные; 5) «Педагогическая поэма» — воспитание нового человека; 6) «Две стороны одной медали» — революционеры и попутчики;

7) «Большевицким разговором мужиков смущает» — агитация в кабаке; 8) «Мы наш, мы новый мир построим» — хозяйственно-экономические проблемы построения социализма как один из центральных предметов художественного изображения; 9) «Даешь мировую революцию» — интернациональное революционно-освободительное движение; 10) «Всем смертям назло» — стремление превозмочь стихийные силы природы; 11) «Оптимистическая трагедия» — жертва на алтаре революции; 12) «Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш» — авторитарное государство вместо свободы, равенства и братства.

Остановимся на некоторых топосах подробнее, дабы убедиться в том, что они действительно общие для литератур «эмбрионального социалистического реализма» и «социалистического реализма в полный рост». Так, жена помещика Щетинина («Трудное время»), оставившая свою мать ради «настоящего дела», напоминает уходящую от мужа «в революцию» «Марью-большесвичку» (1921) А. Невсрова. Обретение Щетининой веры в (социалистические, хоть об этом и не говорится прямо) идеалы происходит благодаря любви к их выразителю — и тут уместно вспомнить взаимоотношения Ниловны и Павла («Мать» М. Горького), дочери купца Ольги Зотовой и красного командира Дмитрия Емельянова («Гадюка» А. Толстого), или возвышенное чувство, испытываемое Копенкиным к Розе Люксембург («Чевенгур» А. Платонова). Но постижение сути социализма при помощи чувства, а не разума делает логически неизбежным разрыв с предметом любви в том случае, если он — сознательно или бессознательно — наносит ущерб «общему делу» (в итоге Щетинина уходит от «предавшего идеалы» мужа); в послереволюционной литературе этот мотив, осложненный любовью к «врагу», человеку противоположных убеждений, встречается, например, у К. Тренева (учительница из пьесы «Любовь Яровая», выдающая красноармейцам мужа-поручика), Б. Лавренева («красногвардейка» Марюта из повести «Сорок первый», убивающая своего возлюбленного, тоже поручика) и других. Героям романов 1860-х годов трудно совмещать любовь и революционную деятельность. Не могут соединиться Райнер и Лиза («Некуда»), Русанов и Инна («Марево»), должны расстаться Бейгуш и Сусанна («Панургово стадо»).

Мотив противостояния «новых людей» естественному порядку вещей (ср. слова Лизы Бахаревой: «Я теперь одна, на всю жизнь одна, но Бог с ними, со всеми... Они вертятся около своего вечного солнца, а мне не нужно этого солнца» [7]), вызывающие в памяти расстреливающего из маузера солнце Пиюсю («Чевенгур») трансформируется в трагические и в то же время жизнеутверждающие образы героев, вступающих в борьбу с неподвластными им природными стихиями (ср. «Иду на грозу» Д. Гранина, «Циклон» О. Гончара).

В ряде случаев антинигилистические романы дают более полное освещение и более глубокую интерпретацию общих мест по сравнению со своими антагонистами. Прежде всего это касается обрисовки политической и экономической деятельности революционеров. Там, где демократическая литература предпочитала поэтику намека и умолчания, романисты-антинигилисты тщательно анализировали все известные им факты об организации «свободных» мастерских и библиотек, коммун и тайных обществ. В перспективе социалистического реализма это означало, что возникло «явление, чрезвычайно важное для судьбы русской художественной интеллигенции, — эстетизация социально-политических и экономических категорий» [8]. Отчет Белоярцева о деятельности коммуны («Некуда»), изобилующий денежными подсчетами и сопровождающийся бурными прениями, предвосхищает такие страницы литературы социалистического реализма, как введенные в поэтический текст таблицы цифровых данных о котиковом промысле и поголовье («Пушторг», 1927, И. Сельвинского), разбор на общем собрании трудового

коллектива в присутствии членов рабоче-крестьянской инспекции причин падения моста («Гидроцентральный», 1928—1948, М. Шагинян), проработка на заседании бюро райкома партии заводском пропаганды и агитации Иванова за неправильную политику по отношению к заводским рабочим («Молодость с нами», 1954, В. Кочетова).

Не лишним будет отметить, что изоморфность ситуаций отчетливо осознавалась. Известный критик и теоретик социалистического реализма Н. Я. Берковский указывал: «Литература времен социального подъема, годов 40—60-х — вот наиболее приближенная к нам литература. У советской литературы и у той, отдаленной и классической, есть совпадения в задачах и могут быть совпадения в решении этих задач» [9]. И все же некоторые нюансы прочно отделяют «вск нынешний» от «века минувшего»: у шестидесятников начисто отсутствует понятие социалистического соревнования; в центре литературы «настоящего» социалистического реализма — не неопределенное «четвертое сословие», а конкретный пролетариат-гегемон; не ограниченные национально-освободительные задачи, а подлинный пролетарский интернационализм; не организация революционеров-индивидуалистов, а спаянная железной дисциплиной коммунистическая партия. Тем не менее, совершенно очевидно, что «социалистический реализм» 1860-х годов служил зрелому социалистическому искусству большим подспорьем, в немалой степени составляя его, так сказать, почву и арсенал. Топика литературы будущего, создаваемая писателями-шестидесятниками, еще не была, конечно, социалистическим реализмом в истинном смысле слова, но уже являла собой, если можно так выразиться, социалистический алгоритм, которым пользовались — добровольно или по принуждению — большинство советских писателей, навязывая жизни «единственно научное» знание о ней.

РОГАЧЕВСКИЙ А. Б.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернышевский Н. Г. Что делать? М., 1975. С. 344.
2. Беляя Г. А. К проблеме романного мышления//Советский роман. Новаторство. Политика. Типология. М., 1978. С. 179—197.
3. Викторович В. А. Достоевский и антинигилистический роман//Достоевский и современность. Новгород, 1989. С. 24—25.
4. Слепцов В. А. Проза. М., 1986. С. 230—234.
5. Крестовский В. В. Собр. соч. СПб., 1899. Т. 3. С. 30—32.
6. Клюшников В. П. Мареву. М., 1865. Ч. 3. С. 63.
7. Лесков Н. С. Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1902. Т. 10. С. 193.
8. Годдес Е. А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Манделштама начала 20-х годов//Тыняновский сборник. Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 205.
9. Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. М., 1989. С. 46.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦРЕАЛИЗМА И ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ноябре 1923 г. Горький сообщал Ходасевичу о новостях, «ошеломляющих разум», что в России Надеждой Крупской запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рэскин, Ницше, Лев Толстой, Лесков.

Этот запрет был в духе одной из главных задач советской власти: создать нового человека с новой психологией и мышлением, в котором место общечеловеческих гуманистических ценностей должны были занять

новые, классовые. Это были первые ростки советской культурной политики, корнями уходящие в ленинское учение о партийности литературы. Культурные запреты сопровождали всю советскую историю. Уже на памяти нашего поколения запрещались, например (если говорить только о писателях советского периода), Есенин, Блок, Булгаков, Бабель, Платонов, Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Волошин, позднее Пастернак — лучшая литература России XX в.

Но одними запретами с литературой справиться не сумели. Не менее действенными оказались различные формы административного управления искусством и литературой, в том числе с помощью унифицирующей литературное развитие формулы социалистического реализма. Советская его история более известна нашей аудитории. Обращусь поэтому к польскому примеру. Организаторы культурной политики и большая часть литературных критиков в ПНР рассматривали социалистический реализм как инструмент идейно-политического наступления на фронте культуры, как средство подчинения литературы политике коммунистической партии (ПОРП).

На совещании партийных писателей в январе 1949 г., накануне известного Щецинского съезда литераторов, секретарь ЦК ПОРП Я. Берман заявил: «Партия будет защищать социалистический реализм, несмотря на то, что он может вести к схематизму, но из этого незачем делать проблему... Зато надо бороться за сокращение дистанции между творческой и политической позицией автора, в этом деле надо поступать решительно» (цит. по: [1. S. 101]).

Другой партийный деятель, В. Сокорский, утверждал в 1949 г.: «Прогрессивное искусство может быть только и исключительно искусством социалистического реализма. Всякая другая позиция художника является лишь сознательным или несознанным переходом на позиции вырождающегося искусства уходящего мира» (цит. по: [2]).

Классическим, можно сказать, образцом узконормативного толкования социалистического реализма может служить статья М. Керчиньской «О социалистическом реализме» (1950). Одним из главных достоинств нового метода она считала то, что он родился «вне литературной среды», и что его «философские корни в научном материализме» [3. S. 186].

Упор делался на воспитательную роль литературы социалистического реализма. Критика оперировала понятиями «социологическая конструкция человеческой судьбы» и «социологическая типичность», которые обеспечивали прямолинейное и упрощенное толкование обусловленности человеческой судьбы общественными процессами. В литературе, насаждался схематизм, утрачивался интерес к внутренней духовной жизни человека, изображение которой отождествлялось с «буржуазным психологизмом». Для поэзии единственным образцом партийная критика провозгласила творчество В. Маяковского советского периода («Создание качественной современной партийной поэзии равнозначно обращению к Маяковскому и, наоборот, отход от Маяковского равнозначен написанию стихотворений некоммунистических, чуждых рабочему классу» [4]).

Без особого преувеличения можно сказать, что главным героем социалистической поэзии стал Сталин, прославленный в десятках панегирических стихотворений, как «вечно живой герой» (Тувим), как «вождь человечества», «демиург истории», «лучший друг Польши», «преобразователь природы», «борец за мир» и т. п. (В. Броневский, С. Р. Добровольский, К. И. Галчиньский, А. Важик, Е. Путрамент, А. Браун, Т. Кубяк, Л. Левин, В. Вирпша и др.).

Были прославлены также Берут (в антологии «Стихи о Болеславе Беруте», 1952, приняли участие как молодые поэты — В. Ворошильский, Х. Гаворский, Е. Фицковский, А. Каменьская, Т. Кубяк, А. Мендзыжецкий, так и мастера — Я. Ивашевич, А. Слонимский, А. Важик и др.), Ф. Дзержинский (поэма

А. Мандальяна «Товарищам по госбезопасности», Л. Левина «Поэма о Дзержинском», сборник стихов «Вечный огонь» под редакцией В. Ворошильского с участием М. Яструна, Т. Кубяка, С. Полляка, А. Мендзыжецкого и др.), К. В. Сверчевский (антология «Строфы о генерале Сверчевском», 1952, среди авторов — В. Броневский, М. Яструн, С. Р. Добровольский А. Важик, В. Ворошильский, Т. Кубяк и др.).

Другие темы поэзии тех лет — партия, передовики производства, социалистическое соревнование, строительство фабрик, дорог, мостов, сельскохозяйственных кооперативов. Это были риторические стихотворения, как правило, перенимающие современный газетно-публицистический жаргон или имитирующие псевдонародный язык. Их авторы широко использовали призывы, лозунги, стереотипные обобщения и идеологический комментарий, которые подменяли поэтическую мысль и лирическую интонацию.

После 1956 г. в Польше развернулась важная дискуссия о реализме и социалистическом реализме. Наиболее значительными были выступления С. Жулкевского (во многих статьях и в трех книгах) с критикой ограниченных представлений о социалистическом реализме (присущих ранее самому ученому). Он пришел к пониманию социалистического реализма как исторически видоизменяющегося метода, обогатившегося к середине XX в. за счет открытий новаторов литературы, как метода, объединяющего такие разные с формальной точки зрения имена, как Горький и Брехт, Шолохов и Маяковский, Арагон, Мальро, Кручковский.

По тем временам это была свежая точка зрения. Однако она не получила отклика в литературной среде. В сознании большинства писателей к тому времени социалистический реализм связывался со схематическими произведениями и нормативными художественными рецептами. Это дало основание заявить, например, Ю. Пшибосю о том, что «социалистический реализм — это дубинка, врученная Ждановым для убийства искусства чиновникам от пропаганды, сервиллистам и панегиристам» (цит. по: [1. S. 301]).

Социалистический реализм как ждановская дубинка, как собрание никуда не годных произведений — такое понимание утвердилось в польской литературной критике. В 1984 г. З. Лапиньский предлагал смотреть на теорию и практику социалистического реализма как на такое же абсурдное явление, как колхозы. И хотя оснований для такого мнения предостаточно, все же оно представляется облегченным. Можно сбросить с корабля современности литературный багаж Бабаевского или Г. Маркова, можно отвергнуть поэтику соцреализма, выводимую из творчества посредственных конъюнктурных художников. Но как быть с творчеством таким соцреалистов, как Горький, Маяковский, Шолохов в советской литературе, Броневский — в польской, Брехт — в немецкой и т. д., да и с представителями других видов искусства? Если раньше мы раздвигали рамки социалистического реализма, стремясь спасти от догматиков как можно больше талантливых и художественно ценных произведений, то теперь его рамки искусственно сужаются, в его пределах остается лишь все неполноценное.

Такой подход, на мой взгляд, упрощает дело. Социалистический реализм — явление многогранное. Это и дубинка для непослушных художников, и ширма для бездарных, но это и художественная система (и метод, и направление) в искусстве XX в., требующая изучения и оценки. Конечно, он изучался и ранее. Десятки и сотни исследований доказывали его значимость, новаторство, устанавливали его параметры, связи с другими направлениями и т. д. Ценность этих исследований ныне невелика. За последние годы сложилось понимание соцреализма как суммы норм и требований, предьявляемых коммунистической идеологией художнику. Действительно, на практике чаще всего признавались отвечающими критериям социалистического реализма наиболее конъюнктурные политические произведения.

Ссылками на его принципы отлучались от искусства крупнейшие художники. В борьбе с этой практикой были лишь частичные успехи. Здесь следует сказать об участии в этой борьбе, особенно в 70-е годы, литературоведов нашего Института (в том числе автора этого сообщения). Мы боролись тогда, как нам казалось, за правое дело, против господства агрессивнo-нормативного толкования социалистического реализма, за расширение его художественного спектра, за «открытую» его концепцию. Понимаю сегодня, что мы заблуждались. Главная ошибка — в попытке раздвинуть рамки системы, не выходя из нее самой. Правы оказались те немногие (не имевшие к тому же возможности свободно высказываться), кто и не пытался прошибить лбом стены, оказавшиеся тюремными для искусства.

Сегодня, какой бы смысл ни вкладывался в понятие социалистического реализма, все уже привыкли связывать с ним порочную практику навязывания норм и правил творчества. Но именно сегодня ожесточение развенчания уступает место трезвому осмыслению. Во-первых, большие художники, отнесенные к соцреализму (некоторые делали это сами), выламывались из отведенных им границ. Во-вторых, сам по себе соцреализм, даже взятый в его узком толковании, выражал определенную историческую реальность жизни и искусства в СССР и других социалистических странах. Важно в этой связи замечание Э. Неизвестного о том, что «когда-нибудь из архивов достанут картины сегодня проклятых мастеров этого периода и, как Феникс из пепла, из огромного количества дряни возродятся вещи, которые войдут, во всяком случае, в историю социальных отношений, в историю человеческого общества» [5. С. 126].

Именно этим существенным вопросам было посвящено первое по времени объективное, без идеологического пафоса исследование поэтики канонического соцреализма — статья А. Синявского «Что такое социалистический реализм» (1957) [5]. Синявский блестяще показал телеологическую направленность произведений социалистического реализма, их устремленность к цели утверждения коммунистической идеологии, развитие в одном, заранее известном направлении, несмотря на разные варианты и оттенки. Это относится и к изображению самых отдаленных времен, где писатели находили явления, с точки зрения марксизма-ленинизма считавшиеся прогрессивными, потому что они в конечном счете способствовали сегодняшним и завтрашним достижениям и победам. Синявский проанализировал поэтику советской литературы, этого своеобразного «воспитательного романа», в котором показана «коммунистическая метаморфоза отдельных личностей и целых коллективов» и главная роль отводилась «святая святых» социалистического реализма — положительному герою.

Телеологическую концепцию истории проследживает в социалистическом реализме и известный теоретик искусства Б. Гройс. (см., например, [6]), который в частности, утверждает, что «соцреализм сталинской эпохи является оригинальным течением в искусстве, обладающим собственной самобытной стилистикой» и выводит ее из авангарда. Перефразируя известное определение, он называет социалистический реализм искусством «авангардистским по содержанию и эклектичным по форме».

Серьезные исследования феномена соцреализма, однако, редкость. В польском литературоведении к ним, бесспорно, относятся работы М. Гловиньского, в том числе его книга «Ритуал и демагогия» [7]. Гловиньский устанавливает, в частности, использование социалистическим реализмом поэтики реализма XIX в. постольку, поскольку писатели XIX в. представляли читателю (за немногими исключениями, как Достоевский) мир уже интерпретированный, прокомментированный автором. Гловиньскому принадлежит и тонкое замечание о том, что жизнь социалистического реализма продлилась по крайней мере еще на одно поколение писателей. Действительно, казалось бы мертвый соцреализм до сего дня, так сказать, хватает

живое тело литературы. Во всяком случае он очевидным образом повлиял на облик постсоциалистической литературы, определяя характер и формы творчества многих писателей. Он оказался ключевой традицией для поколения польских писателей, дебютировавших в 1955—1958 гг. Объединяющим звеном была не позитивная программа, а блок отвергаемых ценностей. Новое поколение писателей объединяло «негативное сознание», их самоопределение совершалось в актах протеста против принципов и результатов социалистического реализма, реже — в выборе совсем иных традиций (творчество М. Хласко, С. Мржежа, М. Новаковского, В. Одоевского). Наиболее сильно влияние социалистического реализма ощущается в эволюции прозы, где он явился негативной точкой отсчета для многочисленных течений. В поэзии отрицательный опыт социалистического реализма сказался в повороте к субъективности и неповторимости переживаний личности, к рефлексивной лирике.

ХОРЕВ В. А., д-р филол. наук,
профессор

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Fijałkowska B.* *Polityka i twórcy.* 1948—1959. Warszawa, 1985.
2. *Fik M.* *Kultura polska po Jątcie.* Warszawa, 1989. S. 117.
3. *Kiereżyńska M.* *Spór o realizm.* Warszawa, 1951.
4. *Odrodzenie.* 1950. № 6.
5. *Teatr.* 1989. № 5.
6. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы, 1992. № 1.
7. *Głowiński M.* *Rytuał i demagogia.* Warszawa, 1992.

ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ: ОТНОШЕНИЕ К СОЦРЕАЛИЗМУ

Начну с вопроса-парафразы. Справедливо ли следующее утверждение: если Х интеллеktуал, то он не соцреалист?⁸

Казалось бы, коллизия здесь неизбежна: интеллеktуал — человек познающий, стремящийся к истине, соцреалист же имеет с действительностью и правдой не рациональные, а скорее магические отношения. Однако жизнь оказывается разнообразнее и противоречивее всяких утверждений — и конвенциональных, и парадоксальных.

Обратимся к польскому опыту, сопоставив его с советским.

Соцреализм, рожденный и выпестованный в СССР, имел свои особенности в разных странах Восточной Европы, в зависимости от их исторических, культурных, духовных традиций. Как писал известный польский поэт и публицист А. Ват, «в каждой из коммунистических стран выработан свой собственный, национальный способ лгать» [2. S. 123].

В Польше век соцреализма был недолгим: он продлился неполных десять лет — с 1948 по 1957 г., из которых активными были всего три. Судя по программным заявлениям, в конце 1949 г. писатели Народной Польши только собирались «создавать соцреализм», а уже в 1952 г. он был подвергнут сокрушительной критике и резко пошел на убыль.

Таким образом, в Польше, в отличие от России, не было достаточного

⁸ Витольд Гомбрович пишет об авторе одного исследования о коммунизме: его книга «не является произведением классического интеллеktуала. Это книга человека, который „в достаточной степени интеллеktуал, чтобы не быть коммунистом и в достаточной степени коммунист, чтобы не быть интеллеktуалом“» (см. [1. S. 131]).

резерва времени, чтобы мог сформироваться и, главное, начать самовоспроизводиться из поколения в поколение «подходящий тип людей» (по выражению А. Зиновьева.— см. [3]), т. е. тот человеческий тип, который был бы способен продуцировать соцреалистическое искусство.

Крайне важен исторический контекст, в который «попал» соцреализм в Польше.

Общественная, культурная, психологическая ситуация здесь резко отличалась от ситуации в Советском Союзе. Это явственно ощущали даже самые горячие сторонники соцреализма: «До 1939 г.,— говорилось в одном выступлении,— ...западная граница Советского Союза разделяла ... два совершенно разных общества. После второй мировой войны ситуация кардинально изменилась» [4]. Все верно — вот только акцент следовало бы сместить с кардинального сближения в течение нескольких послевоенных лет на кардинальное отличие, складывавшееся на протяжении столетий. Польша обладала своей исторической памятью, имела свои культурные ориентации, свое представление о свободе. В данном случае значимо, что у поляков был довоенный опыт ничем не скованного, в том числе критического, отражения в литературе жизни «первого в мире социалистического государства». Социализм и соцреализм не были для поляков священным объектом, объектом поклонения (Вацькович, Бой-Желеньский, Грубиньский).

В СССР, где, как писал Абрам Терц, писатель был доведен до кондиции преступника: один затравлен до самоубийства, другой изъят, третий запуган, тысячи писателей стюены и кастрированы [5], талантливых, независимых ждала тюрьма, лагерь или психушка. Они жили в атмосфере постоянной угрозы и страха.

В Польше в эпоху соцреализма репрессии по отношению к писателям сводились к запрету печататься. Это была мера унижительная, подчас невыносимая, но бескровная.

В СССР соцреализму сопутствовала жесточайшая «перековка душ» — в Польше она проходила не так яростно. Некоторые польские интеллектуалы, знавшие Советский Союз не понаслышке, даже питали иллюзию, что Сталин проводит своеобразный эксперимент и собирается сделать из Польши показное «социалистическое государство без репрессий».

Существенно — подчеркнем еще раз — что соцреализм в Польше был явлением заимствованным: доктрина соцреализма была точно таким же «даром» Советского Союза польскому народу, как Дворец культуры и науки в центре Варшавы, который должен был символизировать величие социализма и единство народов, вставших на путь его строительства.

О вторичности польского соцреализма (корректнее сказать — соцреализма в Польше) писали как его противники, так и проводники. Последние громкогласно заявляли: «Цель нашей литературы, задача нашей литературы, ее долг — стать — подобно советской литературе — социалистической» [4. S. 221]; «великие и творческие свершения Советского Союза в построении социалистического общества ... должны стать для нас примером» [4. S. 46]. Обратим внимание: поляки последовательно подчеркивали свою роль послушных учеников советских писателей. В одной из статей 1948 г. говорилось: «Выражение „учиться новаторству“ может показаться парадоксальным, и тем не менее мы можем учиться у советской литературы подлинному новаторству» [4. S. 97]. Поразительно, как быстро слова утрачивали свой исконный смысл, а их бессмысленность пытались компенсировать усиливающими определениями («подлинное новаторство»).

Неоригинальность и «неукорененность» польского соцреализма подчеркивали и его противники. Польскую Народную Республику они нередко называли — *Polsza* (вместо *Polska*). Этот своеобразный лингвистический прием четко фиксировал их отношение к тому, что происходило в стране и в отечественной литературе. В определенном смысле показательны и те мелкие лингвистические операции, которые были произведены поляками

на литературных терминах. Так, едва ли не с момента появления в Польше понятия «социалистический реализм» оно стало употребляться — за исключением сугубо официальных документов — как «соцреализм». Такое сокращение выводило понятие из ряда «неприкосновенных», а в определенной степени и снижало его. (Любопытно, что Абрам Терц в своей знаменитой работе «Что такое социалистический реализм?» (1957) употребляет термин в его официальном виде, подчеркивая то ли значимость научной проблемы, то ли напыщенность, мнимую величественность самого выражения.) То, что приведенный пример не случаен, подтверждает еще один термин, изобретенный поляками для обозначения соцреалистического жанра производственного романа «produkcyniak». Он с трудом поддается переводу («производняк», «производнец») — похоже, что русский язык сопротивляется такому словообразованию. Подобное экспериментирование с соцреалистической терминологией в СССР было недопустимо.

Приведу еще один пример. В 1952 г. бескомпромиссный А. Ват выступал в Союзе писателей с критикой соцреализма. Ему грубо возражал Е. Пуграмонт и в заключение бросил по-русски: «Когда медведь ворчит, дашь ему дубиной по голове, и тогда он молчит» [6].

Вероятно, и этот «русицизм» не случаен в польской жизни того времени. Видимо, ощущение чужеродности соцреализма оказывалось в Польше сильнее даже самого рьяного желания привить его. А может быть, польский язык был просто бессилён отразить самый дух соцреализма?

Здесь уместно привести глубокие замечания И. Бродского, хотя и касающиеся английского языка, но как нельзя лучше проникающие в суть проблемы: «...Любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести отрицательные реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий» [7]. Всякая попытка передать на «инглише» (так пишет Бродский.— О. М.) «отечественного производства ахинею» оставляет у него «фантастическое ощущение загрязненности цивилизации» [7. С. 352]. Именно такое, можно даже сказать фантазмагорическое ощущение, оставляют десятки соцреалистических книг, написанных на польском языке. Но ведь эти книги были написаны.

В отношении поляков к соцреализму «вмешивался» и национальный характер: свойственная полякам ироничность позволяла сохранять дистанцию в оценке соцреалистических «шедевров», срабатывала также врожденная склонность поляков к изяществу, противившаяся топорности соцреалистической литературы...

Однако есть более существенный фактор, обуславливающий специфику соцреализма в Польше — казалось бы, очевидный, однако заслуживающий особого рассмотрения.

Как известно, тоталитаризм есть уничтожение самой идеи (возможности) альтернативы. Повсюду, где он пришел к власти, он «создал совершенно новые политические институты, уничтожив все общественные, правовые и политические традиции, существовавшие в данной стране» [8].

Послевоенная Польша не удовлетворяла этим условиям в полной мере. Здесь сохранилась многопартийная система — хотя партии были формальными и анемичными. Главное же — сохранялась фундаментальная альтернатива бытия — Бог. Именно присутствие Бога в картине мира поляка определяло особый облик социалистической эпохи в Польше.

В стране существовали вполне официально две конфессии: католическая и социалистическая. Последняя потеснила, но не поглотила и не подменила первую, как это произошло в СССР. Наличие Бога не оставляло возможности признать высшим авторитетом Ленина, Сталина или Берута...

В СССР ситуация была совершенно иной: место изгнанного Бога заняла коммунистическая идеология.

Таким образом, в эпоху соцреализма русские и польские писатели все-таки жили в разных измерениях. Там, где у поляков было если и искреннее, то краткое увлечение соцреализмом, или конформизм, или цинизм, у русских поселилась вера.

Католицизм был не только высокой альтернативой насаждаемой идеологии. Он позволял существовать и вполне реальной оппозиции. К. Брандыс формулировал это разделение в обществе так: «Поляк должен иметь определенную линию поведения: либо быть добропорядочным коммунистом, либо добропорядочным католиком, либо просто добропорядочным поляком» [9]. Добавлю, что «католиками» были все, кто не принимал «атеистическую религию социализма» [10], «поляк — это католик».

Реальной оппозицией в литературе была группа католических писателей. Их жестоко критиковали за так называемый абстрактный гуманизм, но все-таки они могли выражать в творчестве «другую» позицию, отличную от соцреалистической. Уже начиная с конца 40-х годов они открыто polemизировали с соцреалистами и в прессе.

К католической оппозиции примыкали писатели — не католики. Чтобы заявить соцреалистам «я не с вами», достаточно было просто сотрудничать с католическими издательствами (см. свидетельства современников [6. S. 135]).

Разумеется, такое, в сущности, прагматическое, инструментальное отношение к Богу имело свои издержки. Это точно подметил и остроумно выразил Гомбрович: «Бог в Польше стал пистолетом, из которого мечтают застрелить Маркса. /.../ Но задумаемся, чей это триумф: Бога или Маркса? Если бы я был Марксом, я бы возгордился, но если бы я был Богом, то, как Абсолюту, мне было бы немного не по себе» [1. S. 46].

Однако даже при наличии католической «ниши» и при отсутствии серьезных репрессий польские писатели, многие из которых заведомо понимали идеологическую и эстетическую ущербность соцреалистической доктрины, бросились ретиво ее воплощать. Это был род «самопорабощения» (см. [2. S. 19]), психологический феномен, до сих пор не разгаданный.

Но для подавляющего большинства польских писателей «сожитительство» с соцреализмом⁹ осталось эпизодом, который поскорее постарались вычеркнуть из биографии. Кто-то умалчивал о нем, кто-то громко каялся. И те, и другие воспринимали его как грех.

И польские критики, расквитавшись с соцреализмом после 1956 г., в дальнейшем не пытались «расширить» это понятие, «совершенствовать» его, «наполнить новым содержанием» и т. п.

В отличие от России, среди польских писателей не было (или почти не было) героев, борцов, мучеников. Сама ситуация не вынуждала их к столь ожесточенному сопротивлению. А может быть, как считает Гомбрович, просто не нашлось среди них личности, которая задавала бы нравственный уровень?¹⁰

Ч. Милош, эмигрировавший на Запад в 1951 г., однажды сказал: западноевропейский интеллигент отличается от восточноевропейского тем, что первый не получал коленом под зад¹¹.

⁹ Польский литературовед З. Лапиньский, используя многозначность слова «współżyć» назвал свою книгу «Jak współżyć z socrealizmem» [11], что может быть переведено: «Как сожительство с соцреализмом», «Как сосуществовать с соцреализмом», «Как жить с соцреализмом».

¹⁰ «Хватило бы одной по-настоящему глубокой личности — ее присутствие заражает, заставляет напрягаться, задает уровень. Их (польских писателей. — О. М.) беды происходят не столько из их положения, сколько из того, что они не сумели бросить вызов этому положению» [12].

¹¹ В изложении Гомбровича [1. S. 23].

А. Ват, изведавший ужасы Лубянки и ГУЛАГа, приговоренный к молчанию в послевоенной Польше, отличие польского соцреалиста от советского определял примерно так: первому выбили зубы и вставили чужую челюсть, а второй десятилетиями жил под топором [2. С. 24].

Что же касается вопроса, поставленного в начале: верно ли, что если Х интеллигент, то он не соцреалист — этот вопрос пока остается без ответа.

МЕДВЕДЕВА О. Р., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Gombrowicz W. Dziennik 1953—1956.* Kraków, 1988.
2. *Wat A. Świat na haku i pod kluczem.* Londyn, 1985.
3. *Зиновьев А. Об оппозиции в коммунистическом обществе//Квинтэссенция. Философский альманах 1991. М., 1992. С. 56.*
4. *Polski socrealizm. Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1948—1957.* Warszawa, 1988. Т. 1. С. 31.
5. *Абрам Терц. Литературный процесс в России//Вопросы литературы. 1990. № 12. С. 96.*
6. *Watowa O. Wszystko co najważniejsze...* Warszawa, 1990. С. 138.
7. *Бродский И. Форма времени.* Минск, 1992. Т. 2. С. 336.
8. *Arendt H. Korzenie totalitaryzmu.* Warszawa, 1989. Т. 1. С. 349.
9. *Brandys K. Listy do pani Z.* Warszawa, 1964. С. 68.
10. *Mitosz Cz. Rok myślowego.* Kraków, 1991. С. 52.
11. *Zapiński Z. Jak współżyć z socrealizmem.* Londyn, 1988.
12. *Gombrowicz W. Dziennik 1957—1961.* Kraków, 1988. С. 212.

ТЕОРИЯ «ВЫСОКОГО РЕАЛИЗМА» Д. ЛУКАЧА

Имя венгерского философа и литературного критика Дьёрдя Лукача (1885—1971) занимает одно из центральных мест в истории марксистской эстетической мысли XX в. Его наследие неоднократно становилось предметом дискуссий. Исследователей новейшей западной философии не перестают удивлять парадоксы длительной духовной эволюции Лукача. Действительно, почему сын богатого будапештского банкира, получивший образование в лучших германских университетах, подававший большие надежды эссеист, после 1917 г. навсегда связал свою судьбу с мировым коммунистическим движением¹²?

В центре настоящего исследования будет только один из этапов творческой биографии венгерского философа, связанный с его деятельностью по созданию теории реализма в 1930—1940-е годы.

Д. Лукач — один из активнейших участников венгерской революции 1918—1919 гг. — после ее поражения эмигрировал в Вену, затем жил в Берлине, принимал активное участие в литературной жизни веймарской Германии как один из руководителей Союза пролетарских революционных писателей. Переселившись в 1933 г. в СССР, он работал в Институте философии АН СССР, был одним из ведущих авторов журналов «Литературный критик» и «Интернациональная литература». В Москве им были написаны многие значительные работы (например, [3—5]), в которых Лукач стремился показать за литературными и философскими явлениями являющуюся их социально-историческую среду и духовную атмосферу. Преломление в общественной мысли, философии, литературе разных эпох

¹² Подробнее о творческой эволюции Д. Лукача см. [1—2].

и наций основных противоречий социального развития занимало его при обращении к творчеству Гегеля, Гете, Шекспира, Бальзака, Толстого, Достоевского. При этом многие работы Лукача носили дискуссионный характер.

Его теория «большого» (или «высокого», «великого») реализма сформировалась еще в 1930-е годы как реакция на вульгарный социологизм в литературоведении, искусствознании и истории философии, широко распространившийся перед этим не только в СССР, но отчасти и среди западных марксистов. Однако сложившись прежде всего в спорах со сторонниками вульгарно-социологического метода, рассматривавшими художественное творчество только как специфическое проявление классового сознания и не принимавшими во внимание образно-познавательной природы искусства, эта теория одновременно была обращена и против пролетарского авангарда, теории и практики которого также отрицали гносеологическую функцию искусства, в противовес художественному познанию ставили своей задачей художественное «конструирование» действительности, создание новой реальности в соответствии с определенными эстетическими принципами. В формировании теории «высокого реализма» как целостной системы идей наряду с Д. Лукачем внесли немалый вклад его соратники по московскому журналу «Литературный критик», выходившему в 1933—1940 гг., особенно известный философ М. А. Лифшиц. Теория, ставшая важным этапом в развитии марксистской эстетики, по праву может быть названа теорией «высокого реализма» Лукача — Лифшица.

В чем же заключалась теория «высокого реализма»? Полемизируя еще в веймарской Германии с представителями пролетарского авангарда во главе с Б. Брехтом, Лукач упорно стремился перенести главный акцент в спорах о сущности искусства с субъекта (творца) на объект эстетической деятельности. Гипертрофии субъективно-авторского начала, присущей мастерам авангарда, он противопоставил требование предельной объективности в искусстве, сделал основной упор именно на гносеологический аспект художественного творчества. В этой связи закономерно, что центральное положение в его концепции занимает такая категория, как «реализм». Нередко она противопоставлялась «антиреализму», к которому Лукач причислял весь широкий спектр течений, не ориентированных на решение первой, по его мнению, задачи художественной деятельности — познания объективной действительности во всей сложности ее взаимосвязей. Но отдавая бесспорное предпочтение реалистическому методу, Лукач вместе с тем настойчиво предостерегал от упрощенных толкований реализма, сводящих все многообразие заключенных в нем выразительных возможностей к каким-то определенным формам, стилистическим канонам. Только вульгарная социология, — писал он, — может утверждать, что реализм — это стиль. На самом деле вопрос о реализме — это вопрос «об отношении искусства к объективной действительности», и критику никогда не должны связывать пристрастие «к какому-либо определенному стилю или же неприятие его ... Стилиевое ограничение невозможно: как индивидуальный стиль, так и стиль эпохи возникают в результате сложного взаимодействия развития общества в конкретный период и конкретных художественных индивидуальностей ... Никто не может и не должен сегодня писать так, как писали Шекспир или Бальзак» [6].

Не принимая нормативной эстетики, стремящейся навязать художнику определенную систему канонов, Лукач в то же время считал, что художник-реалист, выбирая эстетические средства, не может не испытывать на себе давление действительности. Выбор стиля — это отнюдь не проявление творческого произвола, он во многом предопределен предметом художественного отображения, познаваемой объективной реальностью. Каждая эпоха сама устанавливает и ограничивает круг выразительных средств, необхо-

димых и достаточных для своего глубокого и адекватного познания. Так, использование символов и других условных приемов может быть мотивировано только в определенных исторических условиях. Такие условия имелись, в частности, в Германии конца XVIII — первой половины XIX в., когда буржуазия переживала период своего восхождения при некотором видимом затишье классовой борьбы, и социальная действительность, представлявшая лишь в едва обозначившихся тенденциях, а не в непосредственном проявлении своих основных противоречий (как во Франции той же эпохи), не могла быть глубоко постигнута художником в ее собственных формах, она давала лишь поверхностно-натуралистическое, основанное только на внешнем правдоподобию, без проникновения в суть, отображение себя. Состояние немецкого общества в ту эпоху с наибольшей художественной полнотой могло быть схвачено и выражено в субъективно-лирической рефлексии, либо посредством символики, в условных формах, не претендующих на воспроизведение конкретных явлений, но способных осознать ход глубинных, подспудно происходящих в обществе процессов, предстающих на поверхности в виде неотчетливых знаков. Это давало Лукачу основание причислить к наследию «высокого реализма» творчество Гете, Шиллера, Гейне и с известными оговорками даже Гофмана, казалось бы, явного романтика. О Гейне Лукач, в частности, писал: «Для образной критики немецких условий Гейне не мог найти на немецкой почве необходимый материал реалистически наглядного изображения. Поэтому ... он избрал ... лирико-ироническую, фантастико-ироническую форму. Это не было показателем поэтической слабости, не было и личной причудой Гейне. Он избрал единственно возможную в то время для немецкого поэта форму ... высокого поэтического выражения общественных противоречий» [5. С. 163].

Обращаясь к истории венгерской литературы, Лукач считал символизм революционной лирики Э. Ади в Венгрии накануне первой мировой войны исторически обусловленным. В то же время применительно к конкретно-исторической обстановке в Европе 1930—1940-х годов он считал неоправданным широкое применение символов, других условных изобразительных приемов в литературе и искусстве, поскольку основное противоречие этой эпохи (между демократией и фашизмом) представляло в виде открытого противоборства, доступного художественному освоению в формах своего непосредственного протекания. Этот тезис неизменно породил споры, вызывая критику со стороны Б. Брехта и других постоянных оппонентов венгерского философа, ставивших ему в вину преувеличение диктата действительности над художником и соответственно принижение роли автора в выборе художественных средств, абсолютизацию (применительно к современной эпохе) принципа художественного освоения жизни в формах самой жизни¹³.

В той мере, в какой это было возможно в условиях СССР 1930-х годов, теория «высокого реализма» сыграла большую роль в реабилитации классического наследия перед лицом идеологов Пролеткульта, РАППа и других организаций, после Октября высокомерно провозглашавших превосходство пролетарской культуры над искусством минувших эпох. Не меньшая заслуга этой теории состояла в опровержении распространенного вульгарно-социологического тезиса о прямой детерминированности творческого метода художника его классовым сознанием. Не отрицая взаимозависимости между мировоззрением и творческим методом, Лукач в то же время указывал на подвижную связь между ними. «Объективная высота писательской честности, способности вскрывать и изображать существенные стороны жизни общества могла соединяться ... с мировоззрением, несущим в себе много реакционных предрассудков. В таких случаях художественная честность писателя при-

¹³ О позиции Брехта в споре с Лукачем см. [7].

водила к отражению истины в той мере, в какой ... противоречия в мировоззрении писателя отражали существеннейшие противоречия объективной действительности» [5. С. 259]. В конечном счете это зависело, по мнению Лукача, от того, насколько велик размах общественного движения, к которому тяготеет данный художник, «насколько глубоки и значительны выдвигаемые этим движением проблемы» [5. С. 259]. Лукач признавал, что значительные явления мировой литературы иногда порождались и массовыми общественными движениями реакционной направленности (Р. Киплинг — певец британского колониализма). И все же это — скорее исключение, чем правило. Движение, не имеющее социальной перспективы, обреченное по большому счету на крах, неизбежно сужает горизонты художественного видения мира, заставляет приверженных ему талантливых художников либо впадать в утопию, создавать новые мифы, либо замыкаться на будничных, «растительных», не имеющих большого исторического содержания проблемах.

В этой связи характерна оценка Лукачем всей культуры «позднего капитализма». Общественная ситуация, сложившаяся во многих странах Европы после поражения революций 1848—1849 гг., объективно обрекала даже наиболее талантливых писателей на бедность художественного мира в сравнении с Бальзаком, который хотя и не разделял прогрессивных идей своей эпохи, но в силу открытости жизни, верности правде (всегда понимаемой Лукачем не в поверхностно-натуралистическом, а в предельно обобщенном смысле) сумел перешагнуть через личные пристрастия и создать на материале современной ему Франции образцы подлинно «высокого» критического реализма, где «нет явлений, не включенных в общую связь; каждое явление ... переплетается многообразно и сложно с другими; личное и общественное, телесное и духовное, частное и общее соединяются на основе конкретных и богатых возможностей, заключенных в каждом реальном явлении» [5. С. 265].

В XX в., как считал Лукач, кризис литературы продолжал углубляться вслед за кризисом буржуазного общества, и это нашло выражение, в частности, в проявлениях иррационализма в художественном мышлении. Именно засилье иррационалистических философских течений, происходивший в буржуазном обществе процесс «низвержения разума» (так называется одна из важных поздних историко-философских работ Д. Лукача) порождали ту духовную атмосферу, на почве которой, прикрываясь поначалу лозунгами романтического антикапитализма, прорастали семена реакционной, а в конечном итоге фашистской идеологии. Печать иррационализма Лукач отмечал в творчестве многих крупных мастеров романа XX в. — М. Пруста, Ф. Кафки, Дж. Джойса. Отход художников, оторванных от прогрессивных движений своей эпохи, от рационального познания действительности, Лукач считал закономерным явлением, своего рода реакцией «позднего буржуазного» сознания на невозможность объяснить противоречия социальной действительности, найти пути преодоления общественного кризиса, не выходя за рамки буржуазного строя. Нахождение ориентиров в объективной действительности, осознание перспективы общественного развития Лукач обуславливал лишь сближением с левым лагерем и не в последнюю очередь — с коммунистическим движением. «Не удивительно, что все наиболее прогрессивные писатели позднего капитализма, которые всерьез воспринимали кризис культуры, начиная от Э. Золя и А. Франса и кончая Р. Ролланом и Р. Мартен-дю-Гаром, только на путях большого или меньшего приближения к идеологии рабочего движения смогли увидеть новую перспективу, возможность разрешения противоречия нашей культуры» [8], — писал Лукач в 30-е годы, когда многие отнюдь не симпатизировавшие Сталину деятели европейской культуры действительно видели в международном коммунизме

и СССР потенциальный противовес фашизму, главной в то время опасности для человечества.

Проявление кризисной полосы развития мировой литературы с конца XIX в. Лукач усматривал и в разрушении классической эпопеи как жанра, наилучшим образом способного отобразить действительность во всей ее целостности, максимальной полноте взаимосвязей. Эта сторона концепции Лукача относилась к наиболее уязвимым. Его главный оппонент Б. Брехт обоснованно считал неприемлемой предлагаемую Лукачем жанровую иерархию, ибо в XX в, в условиях заметного ускорения социальных процессов и усложнения отношений в обществе по сравнению с предыдущими столетиями, художник уже не может «втиснуть» действительность в рамки прежних классических эпопей, подобных тем, что создавали Бальзак и Толстой; требуются и поиски новых жанровых форм, и расширение границ художественной условности, и применение не характерных для традиционного реализма выразительных средств («потока сознания» и т. д.) [7]. В конце 40-х — начале 50-х годов идея Лукача о превосходстве крупных эпических форм над прочими обернулась у его эпигонов канонизацией композиционных и стилевых принципов, присущих реализму XIX в.

Несомненно, что теория «высокого реализма» Лукача — Лифшица, в целостном виде сформировавшаяся в СССР в 30-х годах, несла на себе отпечаток времени и места своего создания. Безусловно, Д. Лукач полностью разделял убежденность коммунистов (и многих других своих современников) в глубочайшем кризисе капитализма, свидетельствами которого представлялись «великая депрессия» 1929—1933 гг. и в особенности наступление фашизма. Пути выхода из этого тотального кризиса Лукач однозначно связывал с социалистической перспективой. Однако став убежденным проводником идеи антифашистского народного фронта, он видел в нем шаг на пути к созданию бесклассового общества в соответствии с концепциями Маркса. Его последовательная приверженность марксизму с начала 20-х годов вызывала нередко недоумение и в самой Венгрии, и на Западе. Соотечественник философа — Ф. Фейтё писал в 50-е годы: «Лукач непрерывно стремился засвидетельствовать свою безусловную ортодоксальность, выкорчевывая из своих трудов и мыслей все, что могло не понравиться его бдительным цензорам... Увы, стремление уничтожить в себе все оригинальное и самобытное наложило заметный отпечаток на его творчество. Интеллигент, воспитанный на немецкой философии, обладавший изысканным и утонченным умом, Лукач был прежде всего крупнейшим диалектиком. Чтобы угодить своим хозяевам, он отрекся от своих прошлых произведений и поставил всю свою эрудицию, все свое глубокое знание классической и в особенности немецкой литературы на службу эстетике „социалистического реализма“, сознавая при этом, насколько ограничен и неясен ее характер... Хотя в некоторых его работах еще встречались проблески интеллектуальной честности, которую ему не удалось заглушить в себе полностью... последующие работы Лукача, посвященные доказательству того, что он сам считал недоказуемым, свидетельствуют об огромной жертве, принесенной этим блестящим, великим даже в своих заблуждениях умом на алтарь верности той весьма зигзагообразной линии, которую наметили ведущие идеологи партии» [9]. Лукач действительно связывал будущее человечества с коммунизмом, а в советском строе видел единственную реально существующую общественную систему, не только способную стать действенным противовесом фашистской угрозе, но и обладающую перспективой роста.

Конечно, живя в СССР в 30-е годы, он был свидетелем сталинских репрессий и сам провел несколько месяцев в бериевских застенках в 1941 г., будучи выпущенным по ходатайству руководства германской партии, в дни, когда Гитлер был уже на подступах к Москве. Критика сталинизма, его идейных основ и политической практики в 40-е годы проявлявшаяся

в латентной форме, а после XX съезда открытая и последовательная, заняла виднейшее место в наследии позднего Лукача. Но даже в последние годы жизни, подводя итоги, он не стыдился своей позиции 30-х годов и считал, что при всем антидемократизме сталинской системы СССР был не только важнейшей антифашистской силой, но и единственным носителем социалистической перспективы, которая лишь одна была способна вывести цивилизацию из тупика [10].

Хотя в своем понимании социализма Лукач не стоял на месте, эволюционируя в 40—60-е годы ко все более демократическим концепциям социалистического общества (его работы вдохновляли и идеологов «пражской весны», и итальянских еврокоммунистов), веру в возможности социализма как посткапиталистического общества он сохранил до конца своих дней, как и скептическое отношение к перспективам западной демократии (см., например, его работу конца 60-х годов [11]).

В процитированном выше высказывании Фейтё вызывает несогласие попытка увидеть в эстетике Лукача 30—40-х годов (главная его работа в этой области — «Своеобразии эстетического» — была завершена лишь к началу 60-х годов) эстетику «социалистического реализма». Непредвзятый анализ наследия Лукача тех десятилетий неминуемо обнаружит, что самой проблеме «социалистического реализма» он уделял крайне мало внимания. В социалистическом реализме он видел лишь ориентир, своего рода идеальную модель большой литературы будущего, способной столь же полнокровно выразить эпоху перехода к социализму в общечеловеческом масштабе, как творчество Гете и Бальзака, Толстого и Достоевского выразило во всех противоречиях эпоху становления буржуазного общества (см., например, [12]). В то же время Лукач никогда не идеализировал советской литературы, выполненной по канонам «социалистического реализма», за что подвергался резкой критике с позиций ортодоксальной сталинской эстетики (в том числе со стороны А. А. Фадеева [13]). Правда, в ряде своих работ (как 30—40-х годов, так и более поздних) венгерский философ предпринял попытку связать с творчеством некоторых писателей XX в. (Горький, ранний Шолохов) зарождение «высокого реализма» уже новой эпохи. Примечателен интерес венгерского философа к творчеству А. Платонова, для которого во второй половине 30-х годов журнал Лукача и Лифшица «Литературный критик» был, как известно, практически единственным средством общения с читателями. В 1960-е годы Лукач очень высоко оценил прозу А. Солженицына, посвятив ей специальную работу, вышедшую на многих языках [14]. И все же главной задачей своей деятельности в области эстетики он считал не выработку некоей искусственной модели «социалистического реализма» на основе анализа творчества нескольких писателей (как пытается вольно или невольно показать Ф. Фейтё), а освоение тех пластов классического наследия, на которое должно опираться искусство новой эпохи.

СТЫКАЛИН А. С., канд. ист. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стыкалин А. С. Венгерская культура в середине XX в. (от Хорти до Кадара). М., 1991.
2. Стыкалин А. С. Концепции культурного наследия в послевоенной Венгрии (1945 — середина 1950-х гг.) // Социокультурные процессы в странах Восточной Европы. М., 1992.
3. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987.
4. Лукач Д. Литературные теории XIX в. и марксизм. М., 1937.
5. Лукач Д. К истории реализма. М., 1939.
6. Lukács Gy. Művészet és társadalom. Budapest, 1968. 142. old.
7. Вопросы литературы. 1975. № 8.
8. Lukács Gy. Irodalom és demokrácia. 2 kiad. Budapest, 1948. 21 old.

9. *Фейто Ф.* Венгерская трагедия или антисоветская социалистическая революция. М., 1957. С. 100.
10. *Бессонов Б. Н., Нарский И. С.* Дьёрдь Лукач. М., 1989. С. 146.
11. *Лукач Д.* Демократическая альтернатива сталинизму//Коммунист. 1990. № 14.
12. *Лукач Д.* Социалистический реализм сегодня//Вопросы литературы. 1991. № 4.
13. Правда. 1950. 1 II.
14. *Lukacs Gy.* Soltszenitsyn. London, 1970.

ПРОБЛЕМЫ СОЦРЕАЛИЗМА И БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В первые послевоенные годы (1944—1948), когда шел процесс сплочения революционных и демократических сил под знаменем Отечественного фронта, принципы соцреализма в общественной и литературной жизни Болгарии не занимали видного места. Больше говорилось о необходимости создания правдивой и демократической литературы. Широкая пропаганда нового творческого метода была развернута после 1948 г., когда на V съезде БКП он был провозглашен основным методом болгарской литературы и искусства. С этого времени и фактически до конца 80-х годов он оказался в центре внимания партийного руководства, критики и функционеров творческих союзов. Наибольшее внимание ему уделялось с конца 40-х годов до конца 50-х — начала 60-х годов, меньше в последующее десятилетие.

С конца 40-х годов болгарские критики-коммунисты Т. Павлов, П. Зарев, П. Данчев, С. Каролев, Э. Петров, Б. Районов в своих выступлениях ставили перед работниками литературы и искусства задачу овладеть методом социалистического реализма, видя в нем высшее достижение творческой мысли и художественной практики. Одновременно рекомендовалось широко использовать советский опыт в изображении героических событий и личностей, производственных отношений, создании произведений, отражающих положительные явления современных социальных преобразований. При этом преимущественное внимание обращалось на идеологическую сторону произведений. Социалистический реализм оказывался средством контроля со стороны партийного и государственного руководства над субъектом и процессом творчества. То, что не укладывалось в привычную схему соцреализма — талантливые произведения Э. Станева, Д. Димова, В. Петрова, Б. Божилова и других — подвергалось острой критике. Особое место в этой критике заняла история с романом «Табак» Д. Димова.

В феврале 1952 г. в Союзе болгарских писателей состоялось широкое обсуждение, а фактически осуждение романа, якобы искажившего картину жизни Болгарии 30-х годов. П. Зарев, Э. Петров, М. Наимович обвиняли автора романа в том, что он оказался «в плену реакционной буржуазной философии, стоит на антимарксистских позициях», а его метод «полностью ошибочен». Основанием для таких утверждений послужили образы коммунистов, которые представлены якобы негативно, с рядом отрицательных черт, а образы представителей буржуазного мира вызывают у автора и читателей симпатии, чего якобы не может быть на самом деле. В заключительном слове Д. Димов довольно убедительно отвел основные упреки критиков, хотя и согласился с некоторыми их замечаниями и высказал намерение внести небольшие поправки в текст романа. 16 марта 1952 г., в газете «Работническо дело» была опубликована редакционная статья «О романе „Табак“ и его злополучных критиках», где в целом произведение оценивалось как одно из самых значительных явлений современной болгарской литературы, но отмечались и некоторые упущения автора. Вскоре

Д. Димов был удостоен Димитровской премии — высшей тогда государственной награды. В этой же статье подверглись резкому осуждению выступавшие на упомянутом обсуждении в Союзе писателей. Это было тем более значительно, что осуждение этих позиций исходило из руководства партийно-государственных кругов. Учитывая сложившуюся ситуацию, автор вынужден был пойти на доработку романа, что лишь ухудшило его, и в новой редакции роман вышел в конце 1953 г., получив широкое распространение в стране и за рубежом.

В истории с романом «Табак» выявились особенности литературной жизни Болгарии тех лет. Совершенно очевидно, что большая часть критиков очень упрощенно, догматически воспринимала принципы соцреализма и требовала от художников слова идеальных положительных героев и ярко выраженных отрицательных персонажей, иными словами, настаивала на контрастном воспроизведении образов людей и считала, что именно этим она лучшим образом служит утверждению социалистической идеологии. Сам писатель положительно относился к принципам социалистического реализма, но подходил к ним не бездумно. Он отстаивал право художника слова видеть события и людей в их сложном многообразии, в конкретно-национальной и социальной обусловленности. «Правдивого отражения действительности,— говорил Д. Димов,— мы можем достичь только тогда, когда классовые черты героев мы выявляем в их единстве, отражаем их с художественной мерой, точно и образно, со всеми телесными и душевными проявлениями человека, т. е. со всеми его индивидуальными чертами» [I. Т. 6. С. 244]. Такого рода сочетание социальных и индивидуальных черт он находит в произведениях М. Горького и М. Шолохова, определяя их как «великих художников». Димов подчеркивал: «Каждый из нас стремится овладеть действительной силой социалистического реализма, изображая своих героев в динамическом единстве их индивидуальных и классовых черт и таким образом достичь единства между методом и художественностью» [I. Т. 6. С. 245].

Следует отметить, что не только в начале 50-х годов, но и в середине 60-х Димов оставался верным принципам социалистического реализма в своих произведениях и устных выступлениях. 1 апреля 1966 г. писатель скоропостижно скончался, а на письменном столе остался текст доклада, который он готовился произнести перед коллегами как руководитель Союза болгарских писателей: «Социалистический реализм... не шаблон, не рельсы, не предначертанный писательский фатум, а только средство, только острый и надежный инструмент для достижения новых открытий в бездонной и бесконечно разнообразной действительности». Для него «прежде всего необходимы мастерство таланта, философская концепция марксизма, тесная связь с жизнью и основательное познание тысячелетнего художественного опыта искусства» [I. Т. 5. С. 436].

Таких же взглядов на соцреализм в 50—70-е годы придерживались Л. Стоянов и Г. Караславов, Х. Радевский и О. Василев, А. Гуляшки и К. Калчев и др. Многие писатели и критики в то время были убеждены: придерживаясь основных принципов соцреализма можно глубоко проникнуть в движущие пружины жизни общества, изобразить правдиво человеческие характеры, вскрыть динамику их развития. В 1955 г. Г. Белев — видный в то время болгарский прозаик — отмечал: «Социалистический реализм не кандалы, созданные чтобы задержать творческое развитие писателя, а нечто более широкое, более объемное, что поможет расцвету искусства, предохраняя его от ошибочных шагов. Так что не пугайте нас социалистическим реализмом!» [2. С. 15]. За этими словами кроется внутрилитературная полемика по вопросам теории и практики современной литературной жизни, свидетельствующая о наличии разных взглядов на соцреализм. В 1962 г. талантливый поэт В. Ханчев, активно участвовавший в литературной жизни и далекий от догматических представлений о литературном процессе, писал:

«Одна из больших заслуг социалистического реализма состоит в том, что он дает нам огромные возможности для экспериментирования, для поиска новых форм и путей в поэзии, обязывает нас не топтаться на одном месте, а всегда быть современными — по мысли и форме» [2. С. 653]. Также творчески к этой проблеме в 50—60-е годы подходили многие болгарские прозаики, поэты и драматурги. Ими было создано немало значительных произведений, в которых в большей или меньшей степени выражены принципы социалистического реализма. К числу таких произведений следует отнести серию романов Г. Караславова «Простые люди» (не все они, однако, на высоком художественном уровне), эпопею «Иван Кондарев» Э. Станева, поэмы В. Петрова «Погожей осенью», П. Пенева «Дни проверки» и его же стихи, лирику В. Ханчева, драму Г. Джагарова «Прокурор» и его стихи, поэтические сборники П. Матева, Л. Левчева, В. Башева, романы А. Гуляшки и П. Вежинова и др.

Часть литературной критики, в частности, Т. Павлов, П. Данчев, В. Колевски не только в начале 60-х годов, но и позже уделяла большое внимание вопросам теории соцреализма и преломления ее в практике. Наибольшую верность в отстаивании классово-партийных принципов современной литературы, в утверждении творческого подхода к соцреализму проявил В. Колевски в своих статьях и книгах. Широкую картину проникновения соцреализма в болгарскую литературу после второй мировой войны критик дает в академических очерках по истории болгарской литературы, отмечая, что «социалистический реализм — основной метод современной болгарской литературы. Это самое большое завоевание нашей национальной литературы в годы народной власти!» [3].

Сложность литературного процесса в Болгарии в 50—80-х годах состоит, однако, в том, что официальное внедрение метода соцреализма в национальную литературу и искусство, а также постоянное, порой назойливое провозглашение партийности литературы, необходимости отражения производственных проблем, подчеркивание преимуществ сложившейся социальной системы естественно вызывало сопротивление со стороны многих писателей, а механическое следование принципам соцреализма не столь одаренных писателей порождало множество слабых произведений, дискредитировавших сам метод. Уже в середине 50-х годов критика не без оснований забила тревогу по поводу «серого потока» в болгарской литературе, лакированных произведений-однодневок, слабых производственных романов и повестей, декларативной малохудожественной гражданской поэзии. Многие книги болгарских авторов, считает И. Волен, — «достигли известной лакировки, бесконфликтности, дошли до нетерпимой идеализации вещей; все изображалось двумя тонами — белым и черным — и в конечном итоге черный превращался в белый» [4]. Поэтому многие талантливые писатели и критики, как правило, обходили молчанием само понятие социалистического реализма.

В 60—80-е годы со статьями и книгами, посвященными современной литературе, активно выступали С. Карольев, Э. Каранфилов, Т. Жечев, З. Петров, Б. Ничев, Ч. Добрев, К. Куюмджиев и другие, не прибегавшие к понятию соцреализма, характеризуя литературный процесс или проводя конкретный анализ произведений современных авторов. Такое умалчивание метода, считавшегося основой современной литературы, фактически означало отрицательное отношение к нему, тем нормам и критериям, которые еще недавно почитались незыблемыми.

Надо заметить, что подобное явление мы можем обнаружить и в советской практике. Правда, здесь в 70—80-е годы часть литературоведов (Б. Сучков, Д. Марков и др.) выдвинули понятие «соцреализм как открытая система» с целью несколько реабилитировать сам метод, хотя это и встретило сильное сопротивление со стороны господствующей группы догматиков и аппаратчиков от литературы и литературоведения. Новый подход к трактовке

метода был положительно встречен частью болгарской критики, но все же реабилитации его не произошло.

Стремление обойти молчанием принципы соцреализма можно обнаружить и со стороны самих художников слова. Так, талантливый писатель Э. Станев довольно критически относился к принципам соцреализма. Как правило, он избегал этого понятия. Но когда в 1957 г. его прямо спросили, в чем он видит сковывающее действие соцреализма, он ответил: «В утверждении закономерностей развития жизни по установленным правилам и шаблонам. По-моему мнению, отсюда возникают все беды» [5]. Для него главным остается принцип правдивости художника слова по отношению к реальной действительности, понимание ее в развитии и глубокой общественно-психологической и нравственной значимости. Его произведения, особенно созданные в последний период творчества, отличаются глубоким гуманизмом, покоряют жизненной достоверностью и высокой степенью художественности. Их трудно подвести под определенные принципы и они не укладываются в привычные схемы. Такую более широкую палитру творческих приемов, принципов мы находим в произведениях Й. Радичкова, С. Стратиева, И. Петрова, П. Вежинова (особенно в его последних произведениях), И. Радоева (в драмах).

В целом следует сказать, что творческие достижения болгарских поэтов, прозаиков и драматургов 70—80-х годов носят более сложный характер, не отвечающий ранее провозглашенным принципам социалистического реализма, поэтому и авторы произведений, и критики утратили к нему интерес, и он стал достоянием только самых общих официальных утверждений, не находя реальной основы в конкретной практике и теории. Можно с полным основанием утверждать, что в 80-е годы прежние принципы соцреализма в болгарской литературе превратились в омертвевшие категории, которые не имели веса и значения для самих художников слова.

ЗЛЫДНЕВ В. И., д-р филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Димов Д.* Събрани съчини. София, 1967.
2. *Български писатели за литературата и литературния труд.* София, 1964. Т. II. С. 15.
3. *Колевски В., Жечев Т., Бояджиева В.* Очерци по история на българската литература след 9 септември 1944 года. София, 1979. Кн. 1. С. 129.
4. *Волен И.* Мисъл и думи. Софета — из казвания. София, 1967. С. 69—70.
5. *Станев Е.* Събрани съчинения. София, 1983. Т. 7. С. 376.

МОДА И ВРЕМЯ

*(Образ красивого человека
в русской литературе 1920—1930 годов)*

Уже к началу 1918 г. облик всех российских городов внезапно изменился, и не от того, что обветшали и разрушились дома, расплзлась и истлела одежда — внезапно изменился смысл и назначение вещей, сделавших своих владельцев неузнаваемыми. «Столик с инкрустацией перестал быть просто редким столиком, — он словно исподтишка, чатырьмы своими ножками норвил лягнуть революцию, — в нем было недоброе начало; рояль был слишком богат, занимал много места; в лакированных рамах, бюсте, люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним временам;

вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им не свойственный: они стали опасны» [1].

Еще в большей степени опасной стала одежда. Не только форменная, обличавшая причастность человека к старым структурам власти, но и бархатные блузы художников, скромные шляпки гимназических учительниц, толстовки либерально настроенных интеллигентов. «Петроград зимой 1918 г. еще не был пуст и страшен, каким стал к концу лета. Было много голодных людей, вооруженных людей и старых людей в лохмотьях. Молодые щеголяли в кожаных куртках, женщины теперь все носили платки, мужчины — фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда были общепонятным российским символом барства и праздности, и значит теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера» [2. С. 28].

Костюм уже не должен был украшать, его задача стала иной — сделать человека незаметным, растворить в толпе вокзальной сутолоки, в очередях, подчеркнуть лояльность своего владельца новой власти. Кожаная куртка шофера вместе с автомобилем переходила в распоряжение новых хозяев, а прежние владельцы, если хотели выжить, не могли больше надевать в холодную погоду свой старый студенческий плед, тем более крылатку — в ход пошли старые одеяла и портьеры, скатерти и покрывала. Улицы стали серыми во все времена года. Фиолетовый френч Г. Якулова, сшитый из бархатной занавески [3], или нестерпимо клетчатые штаны Пяста среди петроградской зимы [4] и экзотические наряды других, причастных к литературе или живописи, не могли изменить общего тревожного и мрачного колорита времени.

Уже в середине 1918 г. потребовалось «...для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе» создать Отдел готового платья и белья при Центротекстиле [5]. До конца 1921 г. распределение было основным видом деятельности всех швейных производств, главными заказами были военные — форма красноармейцев, комиссаров и т. д. Время сформировало свой эстетический тип предельной функциональности и подчеркнутого аскетизма, при котором все, что напоминало об ушедшей, насильственно отринутой бытовой культуре воспринималось как враждебное, идеологически чуждое. Красная косынка, рубаха, кожаная куртка, фуражка, широкий ремень и сапоги определяли облик улиц и главенствовали в учреждениях. Привычка к европейскому костюму и галстуку у некоторых представителей верховной власти были не более, чем знак особых привилегий, который не могли и не смели надеть на себя другие. Но существование государства требовало развития тех сфер хозяйственной деятельности, без которых невозможно повседневное существование людей — в частности, производства одежды.

Организация подобных производств была немыслима без теоретического осмысления проблем, вставших перед художниками, обратившимися к новому для себя виду творчества — моделированию одежды.

В 1923 г. создается в Москве «Ателье мод» и тогда же выходит первый и единственный номер журнала «Ателье», в редакционную коллегия которого были приглашены Б. Кустодиев, А. Головин, И. Грабарь, В. Мухина, К. Петров-Водкин, А. Экстер, К. Юон, А. Ахматова, О. Форш и др. Б. Кустодиев уже пробовал себя в моделировании как один из авторов проекта красноармейской формы со знаменитой «богатыркой», получившей позднее название «буденовка». Н. Ламанова проявила себя как блестящий модельер еще до революции. Сосдинить в единую целостную систему различные внешние проявления жизни — праздник, спектакль, народное гулянье — через облик нового гражданина захотели А. Степанова, Л. Попова. В. Мухина впервые приобщилась к моделированию одежды, помогая своей подруге Н. Ламановой воплотить в рисунке, которым совсем не владела профессиональная портниха, ее творческие замыслы. В целом теоретические

просекты журнала «Ателье» были предназначены для реализации в повседневной жизни эстетических идеалов нового искусства.

Идея привлечения профессиональных художников к оформлению внешнего быта проявилась еще в начале XX в., а в 1912 г., созданием «Газетт дю бон тон» была легализована новая сфера деятельности художников — модная графика как объект творчества. Нельзя не признать, что первыми в этой области стали работать русские художники и, прежде всего Л. Бакст, который по заказу парижской фирмы «Пакен» еще в 1909 г. выполнил целую серию моделей, а в дальнейшем сотрудничал с фирмой П. Пуаре, понимавшего роль графики в создании нового направления в конструировании одежды и его распространении. К моменту создания журнала «Ателье» (1923) роль художника, материализация замысла в эскизе, уже ни у кого не вызвала сомнений. Задачи нового издания были сформулированы в редакционной статье: «Мощное самостоятельное творчество русских художников должно быть источником новых форм художественной промышленности. Изящество во внешности современного быта должно быть выявлено совместными усилиями как художников-мастеров, так и руководителей современной промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени. Деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры. — есть главная цель издаваемого нами журнала» [б. С. 3].

Возможности эпохи были не так велики и, отказавшись от традиционных материалов высокой моды, художники обратились к грубому холсту и дешевым ситцам, простенькой байке и жесткому сукну.

Уже стало очевидным, что основным местом действия становится не частное жилище, а улица, стадион, цех, парк и т. д. Новый модуль в решении каждого костюма основывался на простейших геометрических формах. С одной стороны, он восходил к фольклорной традиции, с другой — зрительно легко объединял огромные массы людей. Простейшие модули способствовали быстрому производству различных видов одежды и отвечали практическим задачам времени.

Однако период вовлечения в художественную промышленность художников — живописцев, скульпторов, монументалистов и т. д., оказался не очень долгим. Огромный успех русской коллекции на Всемирной выставке в Париже в 1925 г. завершил этот период. Гран-при, выпавший на долю Н. С. Ламановой, был подтверждением верности идей, высказанных за год до этого в «Ателье»: «...при выработке форм костюма должно быть достигнуто сочетание существующего направления европейской моды с национальными особенностями русского искусства» [б. С. 45].

В середине 1920-х годов облик нового хозяина жизни, облеченного в форму, точнее, использующего элементы формы времен гражданской войны, стал столь же неприемлемым, как некогда шляпа или галстук. Создавалась новая история рождения государства и всякое свидетельство — вербальное или визуальное — участия или причастности к действительным событиям тех лет было столь же неуместно, как открытая критика государственной политики. Выработывался новый эстетический идеал, которому не соответствовали ни искания отечественных художников, ни европейская мода.

Начали проявляться черты особой, советской респектабельности, были прощены толстовки, заполнившие улицы и учреждения, дамские блузки и сумки. Первым вновь подметил наступившие перемены А. Н. Толстой, рассказ которого «Гадюка» (1928) можно рассматривать и как свидетельство изменений, произошедших в ту эпоху, когда кожаная куртка с широким ремнем проиграла сражение блузке с рюшами. Поиски национального стиля, которым отличалась русская коллекция в Париже, или размышления

В. фон Мекк в статье «Костюм и революция», опубликованные в «Ателье», уже не соответствовали задачам, поставленным перед художественной промышленностью. Художники постепенно стали уходить из этой сферы деятельности.

Чуть позднее в блестящей литературной форме был сформулирован идеал нового красивого человека: «Есть тип мужской наружности, который выработался как бы в результате того, что в мире развилась техника, авиация, спорт. Из-под кожного козырька шлема пилота, как правило, смотрят на вас серые глаза. И вы уверены, что когда летчик снимет шлем, то перед вами блеснут светлые волосы. Вот движется по улице танк. Вы смотрите. Под вами трясется почва. Вдруг открывается в спине этого чудовища люк, и в люке появляется голова. Это танкист. И, разумеется, он тоже оказывается светлоглазым.

Светлые волосы, светлые глаза, худощавое лицо, треугольный торс, мускулистая грудь — вот тип современной мужской красоты.

Это красота красноармейцев, красота молодых людей, носящих на груди значок „ГТО“. Она возникает от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами» [7].

Красноармеец на параде, в парке, на прогулке, а не в полевых условиях, становится главным действующим лицом, вокруг которого разворачиваются сюжеты пьес и других литературных произведений, фокусируется действие всякого уличного шествия или праздника. Военная форма тех лет видоизменилась по сравнению с первыми годами гражданской войны. Введенная в качестве походной летней формы еще в 1882 г., рубаша, скроенная с небольшими изменениями по образцу традиционной русской одежды, получила во второй половине 1920-х годов новое название — «гимнастерка», связанное с бесконечными показательными выступлениями красноармейцев на спортивных гимнастических снарядах. Обычно спортивную форму им заменяла военная одежда. Любопытно, что в официальных документах царского времени и позднее, в 1918 г., когда разрабатывалась форма красноармейцев, эта рубаша никогда «гимнастеркой» не называлась. Первоначально, в конце XIX в., она должна была быть белой, но после 1903 г. была введена рубаша защитного цвета, получившая в обиходной речи название «защитка». В годы первой мировой войны многие гражданские лица — среди них был и А. Блок — начали носить «защитку» [8]. Блок был первым в Петербурге, кто начал появляться в «белом свитере с высоким воротом» не на прогулке или охоте, а на поэтических встречах или редакционных заседаниях [2. С. 133]. Его новая манера одеваться обратила на себя внимание потому, что поэт был образцом особого петербургского стиля — застегнутого на все пуговицы, подчеркнуто безупречного столичного жителя, в отличие от часто нарочито небрежных московских литераторов [9].

В Красной армии вновь ввели белые рубашки-«гимнастерки», являвшиеся своеобразным цветовым шифром всякого уличного действия. Культ силы и спорта вторгся и в повседневную жизнь городов. Площадки для прыжков с парашютом были оборудованы почти во всех парках, стадионы переполнялись молодежью, подражавшей своим спортивным кумирам. Самой модной одеждой стали знаменитые «соколки» — трикотажные полосатые майки с рукавами и цветной шнуровкой на груди. Занятия спортом требовали никогда не кончающейся хорошей погоды. Кажется, что не только в фильмах, но и на живописных полотнах и произведениях литературы всегда светило солнце, а дождь и снег остались в начале 1920-х годов. Белый цвет, дополненный алыми знаменами, синими, зелеными и малиновыми околышами форменных фуражек, главенствовал в одежде. Это поразило побывавшего в России в середине 1930-х годов Андре Жида: «Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах...

В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось и в умах, если бы это можно было увидеть» [10].

Много ранее соотечественник писателя еще в конце XVIII в. высказал мысль о том, что люди одеваются так, как думают¹⁴. Эта мысль получила широкое распространение в России в начале XIX в.¹⁵ Французский писатель сам почувствовал, что «когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу... Нет ничего более опасного для культуры, чем подобное состояние умов» [10].

Повседневный быт того времени исключал всякую индивидуальность, а истинная мода требует уникальности не только конкретного наряда, но и уникальности использующего его человека. «Коммунальными» стали не только квартиры, но и вещи. Чужие люди селились среди предметов, им никогда не принадлежавших, противоречивших их привычкам и вкусам. Быть со всеми и быть как все — вот единственный способ выжить. И это означало, что одинаковые мысли должны были облечься в одинаковые одежды и в прямом, и в переносном смысле слова.

Никогда прежде и, даже в последующие десятилетия XX в., культ молодости и силы не главенствовал в российской жизни, как во второй половине 1920—1930-х годов. Все, что не соответствовало административно сложившемуся идеалу и не могло жить на стадионе или демонстрации как бы не существовало. Для моделирования не было стариков и младенцев. Одежду проектировали лишь для подростков и молодых людей. Хотя в это время модельеров начинают обучать профессии, но по программе технических учебных заведений, так как основным видом деятельности считается производство готовой одежды, которая, по словам А. И. Герцена, «...впору до „известной степени“ всем людям одинакового роста и плохо одевает каждого отдельно» [11].

По идеологическим мотивам не получила дальнейшего развития национальная тема в моделировании, принесшая такой огромный успех на выставке 1925 г. в Париже. Настоящий традиционный костюм, который время от времени появлялся на улицах до 1917 г., украшая собой ярмарочные площади яркими красками и разнообразным покроем, исчез и в деревнях, а город оказался закрытым для крестьянского населения на многие годы. Попытка разрабатывать столь плодотворную тему как национальный крой и орнамент, рассматривалась как проявление национализма и лишь в коллекциях для международных выставок присутствовали элементы народного костюма разных этнических групп, населявших Россию.

КИРСАНОВА Р. М., канд. искусствоведения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстой А. Собрание сочинений. М., 1929. Т. IV. С. 174.
2. Берберова Н. Железная женщина. М., 1991.
3. Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 287.
4. Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988. С. 57.
5. Швейная промышленность // 1967. № 1. С. 21.
6. Ателье. 1923. № 1. С. 3.
7. Олеша Ю. Избранное. М., 1974. С. 304.
8. Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 243.
9. Демиденко Ю. Б. Костюм и стиль жизни. Образ русского художника начала XX в. // Панорама искусств. М., 1990. № 13. С. 71.
10. Комсомольская правда. 7.X.1922.
11. Герцен А. И. Собрание сочинений в 8 т. М., 1975. Т. 6. С. 269.

¹⁴ Речь идет о «Картинах Парижа» Л.-С. Мерсье, очень популярных в России на рубеже XVIII—XIX вв.

¹⁵ Переложение некоторых высказываний французского писателя использовал Ф. Ф. Вигель в своих «Записках».



КУРЛЯНДСКОЕ ГЕРЦОГСТВО И РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 60-е ГОДЫ XVIII ВЕКА: К ПРЕДЫСТОРИИ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Курляндское герцогство возникло на развалинах Ливонского ордена: с начала 1560-х годов в Курляндии были ликвидированы последние следы политической и сословной организации Ордена, великий магистр которого, Готхард Кетлер, стал первым герцогом Курляндским. Территория Курляндии и Земгалии занимала юго-западную часть современной Латвии к югу от Даугавы (Западной Двины) и была окончательно оформлена после шведско-польской войны 1600—1629 гг.¹ Известное представление об этническом составе населения края в XVIII в. могут дать результаты переписи 1897 г.: латыши — 505 544 (75%), евреи — 51 171 (7,7), немцы — 38 326 (5,7), русские — 37 956 (5,6), поляки — 19 676 (2,9), литовцы — 16 526 (2,5%). Полученная картина свидетельствует о преобладании в крае латышского населения, 91,5% которого составляло крестьянство. Напротив, феодальная, чиновничья и городская верхушка на две трети состояла из немцев, на одну треть из поляков [10. С. 2].

В 1563 г. Готхард Кетлер созвал в Риге первый курляндский ландтаг. Первоначально в ландтагах, в соответствии с традициями Ливонского ордена, наряду с рыцарством участвовали представители церкви и городов, но уже на рубеже XVI—XVII вв. курляндские ландтаги становятся исключительно дворянскими. Практически с момента возникновения герцогства в нем разворачивается борьба между Кетлером и его преемниками, с одной стороны, и дворянством — с другим, завершившаяся победой феодальной знати [11—17]. В марте 1617 г. при участии польской королевской комиссии было выработано новос государственное устройство, состоявшее из Привилегии Кетлера, Формы правления и Курляндских статутот. Власть герцога становилась номинальной. Все решения он принимал в согласии с четырьмя высшими советниками: ландгофмейстером, канцлером, бурграфом и ландмаршалом, которые совместно с двумя докторами права образовывали герцогский суд. Кроме того, власть герцога ограничивали главные начальники областей, жившие в Митаве, Гольдингене, Туккуме, Хельбурге и Газенпоте, центре присоединенной Пильтенской области. Области, или обергаунтманства, делились на гауптманства. Все должности могли замещаться только

Носов Борис Владимирович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ История Курляндского герцогства в XVI—XVII вв. освещена в ряде обобщающих работ [1—9].

представителями курляндского дворянства, причем назначения делались пожизненно. Члены совета могли назначаться только из обергауптманов, а те, в свою очередь, из состава гауптманов.

Курляндское дворянство добилось создания особой комиссии, так называемой рыцарской скамьи, которая составила список родов, обладавших правами курляндского дворянства. К 1642 г., когда комиссия завершила свою работу, в список было внесено 119 фамилий. Таким образом завершилось формирование корпоративной организации курляндского рыцарства. В XVIII в. «рыцарская скамья» существенно сократилась за счет пресекавшихся родов, а также родов, утративших свои владения в герцогстве [13. С. 15—85]. Важнейшей и исключительной сословной привилегией дворянства являлось участие в ландтагах, которые созывались герцогом раз в два года. В отсутствие герцога ландтаг не мог быть созван, однако это правило нарушалось собраниями так называемых братских конференций. От каждого прихода (кирхшпиля), в XVIII в. их было 27, дворяне посылали одного депутата. Вопросы, рассматриваемые в ландтаге, предварительно обсуждались дворянством прихода и депутат получал инструкции по голосованию.

Основу экономического и политического господства рыцарства составляло феодальное землевладение, которое в начале XVIII в. (по тарифу 1710 г.) охватывало примерно 1400 гаков² [16. С. 15], из них примерно одну треть составляли герцогские владения. Номинально последние делились на три группы: дворцовые имения, доходы от которых шли на содержание герцога и его двора; казенные имения или домены, рента с них поступала в государственную казну; родовые имения герцога, хотя фактически различия между ними не делалось. Так как дворянство было освобождено от всяких налогов, то поступления в казну обеспечивались исключительно герцогскими владениями. Единственной повинностью, которая лежала на дворянстве, являлся сбор 200 вооруженных всадников в войско польского короля.

С гибелью Ливонского ордена окончательно пала и католическая церковь в Курляндии, где, во многом под влиянием Дании, в конце XVI в. претендовавшей на курляндские земли, и протестантских князей Германии, утвердился протестантизм в его аугсбургском варианте³.

В XVI — первой половине XVII в. оформились взаимоотношения Курляндии с Польшей и Литвой, а после заключения Люблинской унии — с Речью Посполитой [7; 8]. Для польско-литовского государства курляндский вопрос являлся составной частью политики в отношении прибалтийских земель восточнее Гданьска или, другими словами, в Польских инфлянтах, которые оказались в сфере интересов польской короны со времен Сигизмунда Августа, стремившегося опереться на прибалтийские земли для укрепления господства польской шляхты в Литве и борьбы с Московским государством. В 1560 г. в Ригу в качестве королевского посла прибыл воевода виленский и канцлер литовский князь Николай Радзивилл, который подписал 28 августа 1561 г. договор с Кетлером и Вильгельмом Бранденбургским. Согласно договору, утверждались ленная зависимость Курляндии от польской короны и правление династии Кетлера в герцогстве. Однако после ее прекращения король получал возможность передать герцогство другому владельцу. На Курляндию распространялось действие привилегии Сигизмунда Августа, в соответствии с которой подтверждались все прежние вольности, привилегии и владельческие права дворянства, ликвидировалась военно-сословная организация Ордена, ленные владения рыцарей превращались в аллодиальные, как в Польше и Литве, устанавливалось крепостное право, узаконивались

² Имение в один магистрский га занимало площадь примерно 108 га, насчитывало 60 взрослых мужчин-крепостных и стоило по шведской ревизии XVII в. 80 тыс. гульденов [2. С. 200, 354—355].

³ О положении церкви в Курляндии см. [17; 18].

прежние захваты земель, в том числе и церковных, признавалась свобода протестантской церкви, допускалось приобретение прав и привилегий польской шляхты.

Время после заключения Люблинской унии ознаменовалось дальнейшими попытками укрепления господства Речи Посполитой в инфлянтах, в частности в Курляндии. В конституциях сейма 1598 г. была утверждена ординация, регламентировавшая новый статус инфлянтов в составе Речи Посполитой. Важнейшим ее постановлением стало уравнение в правах трех «народов», т. е. шляхты польской, литовской и инфлянтской; последней предоставлялось право участия в сеймовании, а епископу Венденскому — место в сенате [19. Т. 2. С. 280, 377—378, 347].

Для Курляндии Люблинская уния означала формальное включение герцогства в состав Речи Посполитой, что закрепляло его ленную зависимость не только от короля, но и от республики, и Королевства Польского [19. Т. 2. С. 806]. На сейме 1589 г. было решено присоединить владения дома Кетлеров к Короне и Литве, а после прекращения династии полностью объединить Курляндию с остальными инфлянтами и Речью Посполитой [19. Т. 2. С. 1267].

Главной обязанностью курляндских герцогов по отношению к польскому королю являлось участие со своим войском в его походах. Курляндский герцог Фридрих принимал участие на стороне Польши в Тридцатилетней войне, а его племянник и преемник Яков с двумя ротами наемников участвовал в походе к Смоленску в 1634 г.

В целом политика Польши в Курляндии во второй половине XVI—XVII в. была направлена на ее полное административное, правовое и сословное включение в состав Польских инфлянтов и подчинение Речи Посполитой. Однако ослабление польско-литовской государственности делало нереальным осуществление этих планов. Кардинально ситуация изменилась в ходе Северной войны, когда герцогство попало в сферу интересов России в Прибалтике.

Первые дипломатические контакты Курляндии с Россией относятся еще к середине XVII в. [16, С. 3—4]. Главными целями русской политики в Курляндии во второй половине XVII в. были недопущение участия курляндских отрядов в военных действиях против России и использование влияния герцога в Прибалтике и Польше для защиты там русских интересов.

С 1705 г. Курляндия становится театром военных действий между Россией и Швецией. Тогда же предпринимаются попытки дипломатическими средствами закрепить в герцогстве военные успехи России. В 1710 г. был подписан договор о бракосочетании племянницы Петра I Анны Ивановны (будущей императрицы) с герцогом Фридрихом-Вильгельмом [16. С. 12—13; 20. № 2272]. Договор этот носил характер не межгосударственный, а фамильный, что, с одной стороны, не требовало его утверждения королем и польским сеймом, а с другой — создавало основу для особых отношений между герцогской династией и Россией. Договор предусматривал строительство в Митаве православной церкви и образование таким образом православной общины, которая конфессионально подчинялась бы русской церкви и была, следовательно, проводником влияния России. Финансовая сторона договора включала ассигнование 160 тыс. рублей из приданого Анны на выкуп заложенных герцогских имений, которые тем самым косвенно попадали под управление России; выплату Анне 10 тыс. рублей в качестве подарка, 15 тыс. рублей в год на содержание ее двора, а в случае вдовства — по 40 тыс. рублей ежегодно. Эти условия для разоренной войной Курляндии являлись заведомо невыполнимы, что, как считали в Петербурге, позволяло в будущем оказывать влияние на политику герцогского дома.

Однако те проблемы, которые российская дипломатия предвидела в неслишком близком будущем, возникли во всей остроте уже в 1711 г. 30 октября

1710 г. в Петербурге состоялось бракосочетание, а 10 января 1711 г. герцог Фридрих-Вильгельм умер по дороге на родину. Титул герцога принял дядя покойного Фердинанд. Правда, сделано это было вопреки воле ландтага и оберратов, польского сейма и короля. Фердинанд не получил королевского диплома. В 1717 г. была учреждена специальная комиссия польского сейма для расследования этих событий [19. Т. 6. S. 300], которая подтвердила права и привилегии курляндского дворянства. С этого времени начинается длительный период интриг вокруг курляндского престола. Своих претендентов, наряду с Россией, выставили Пруссия и Саксония, причем последняя стремилась действовать в обход Речи Посполитой [1. С. 243—248; 9. Bd. 2. Ab. 2. S. 582—631; 16. С. 14—56; 21; 22. С. 58—96].

Таким образом, если в XVII в. Курляндия находилась исключительно в сфере влияния Речи Посполитой, роль которой временами оспаривала Швеция, то в XVIII в., в связи с обострением балтийской проблемы, экспансией в этом районе России и Пруссии и ослаблением влияния Польши и Швеции, борьба за корону курляндских герцогов начинает играть заметную роль на севере Европы.

Сразу после смерти Фридриха-Вильгельма в Петербурге начинают требовать выполнения условий брачного договора. 30 июня 1712 г. по указу Петра I обергофмейстером Анны Ивановны был назначен П. М. Бестужев, перед которым ставилась задача получения у оберратов положенных 40 тыс. рублей. Но так как оберраты отказались выполнить эти требования, то 1 сентября 1712 г. Бестужеву было поручено самому взыскать эти средства. Препирательства с курляндским дворянством закончились тем, что летом 1715 г. три полка под командованием князя В. Н. Репнина вступили в Курляндию. С этого времени Курляндия оказалась фактически занята русскими войсками. Однако эти действия явились лишь прологом к мерам по дальнейшему укреплению здесь русского влияния.

26 июля 1718 г. генерал-комиссар П. М. Бестужев сообщил в Петербург, что в Литву прибыла королевская комиссия, которая по указу Августа II должна примирить курляндцев с герцогом Фердинандом, аннулировать трактаты и указы герцога Фридриха-Вильгельма как несовершеннолетнего. Тем самым ликвидировались все права Анны Ивановны, а вместе с ними и возможные притязания России. Летом 1720 г. курляндский канцлер Кейзерлинг направил письмо Петру I, в котором просил защитить дворянство от умыслов польских вельмож. Дело в том, что в Курляндии в связи с отменой указов Фридриха-Вильгельма проводилась ревизия, в результате которой у дворянства безвозмездно изымались находившиеся в закладе герцогские владения. Недовольством рыцарства воспользовались в России, предложив выкупить эти владения, но в пользу Анны Ивановны. По подсчетам Бестужева, в конце 1721 г. общее количество заложенных имений и маестностей составило 377,75 гаков с 1561 двором (всего в герцогских владениях по переписи 1710 г. было 438 гаков). В 1722 г. выкупаются девять имений площадью 188 гаков на сумму 54,4 тыс. таллеров, к концу царствования Петра I — 17 на сумму 83,37 тыс. таллеров. В 1758 г. под русским управлением находилось уже 125 имений.

Все эти домены, хотя и чересполосно, были сосредоточены вокруг Митава и тянулись с запада на восток через всю Курляндию, отрезая северную часть герцогства от Литвы и примыкая на востоке к русским владениям в Лифляндии. Хотя выкуп этих имений носил в каждом случае характер частной сделки, в итоге подавляющее большинство герцогских доменов оказалось под управлением России, к ней же, таким образом, переходили и сеньориальные права герцога. Выкупная операция помогла склонить на сторону России часть курляндского рыцарства. Связи дворянства с Россией еще более укрепились благодаря широкому притоку дворян из Курляндии

на русскую службу. Высших чинов военной и гражданской иерархии России достигли Корфы, Кейзерлинги, Менгдены и Бреверны.

Политика России в Курляндии вызывала большие опасения в Варшаве. Правящие круги Речи Посполитой не отказались от планов присоединения герцогства к республике, однако их осуществлению мешали не только общее ослабление польско-литовского государства, но и сопротивление курляндского дворянства, боявшегося проникновения в Курляндию польской шляхты и католической церкви, а также стремление саксонской династии превратить герцогство в наследственное владение дома Веттинов. Все это обусловило выжидательную позицию польских правящих кругов, которые вынуждены были ограничиться декларациями, подтверждающими существующий статус Курляндии и сеймовое решение 1589 г. о ее включении в состав Речи Посполитой после прекращения династии Кетлеров. Так, в конституциях Варшавского сейма 1717 г. говорилось о том, что княжества Курляндия и Семгалия являются составной частью (*ad corpus*) Польши и Литвы и подтверждались привилегии 1617 г. [19. Т. 6. С. 301]. В королевском дипломе Мориса Саксонского 1726 г. герцогство названо провинцией Речи Посполитой, а в конституциях Варшавского сейма 1726 г. вновь подтверждены конституции 1589 г. [19. Т. 6. С. 403—407].

Избрание на польский престол Августа III в результате военного вторжения России в Польшу вынудило польское правительство пойти на уступки в курляндском вопросе. Акт генеральной конфедерации 1733 г. и Варшавский сейм 1736 г. определяют статус Курляндии как ленного владения республики и инвеституру герцога на основе доверия жителей. Однако тут же подтверждается конституции сейма 1726 г., что свидетельствовало о намерении дрезденского двора и магнатов при удобном случае настаивать на включении Курляндии в состав Речи Посполитой или на избрании герцога из саксонской династии [19. Т. 6. С. 587, 664].

Весной 1737 г. в Гданьске скончался последний представитель династии Кетлеров герцог Фердинанд. Это стало поводом для определения статуса Курляндии по отношению к Польше и России. Последняя решительно воспрепятствовала включению герцогства в состав Речи Посполитой. 30 апреля 1737 г. из Петербурга в Митаву был отправлен подполковник Каркетель с двумя грамотами от императрицы. Вторая, обращенная к оберратам, предписывала созвать ландтаг, «отдалив от союза с Польшею сие герцогство и доставив владение оногo тому, коего она (Анна Ивановна. — *Б. Н.*) удостоивала всегда своего благоволения», т. е. Э. И. Бирону, который, правда, не был назван в грамоте по имени [16. С. 37—38]. Выборы состоялись в июне 1737 г. Однако, чтобы избрание прошло гладко, все привилегии герцогства сохранялись неизменными, более того, грамотой от 6 июля 1737 г. императрица обещала оберратам исходатайствовать у польского короля инвеституру для нового герцога. Таковая была получена в Митаве в 1742 г., уже после падения и ссылки Бирона. Это свидетельствовало о том, что утверждение нового герцога, ставленника России, сохраняло свое значение и после падения фаворита императрицы Анны.

В 40-е и 50-е годы XVIII в. русское правительство, с одной стороны, препятствовало курляндским депутатам поднимать вопрос о судьбе Бирона и его возвращении в Курляндию, как это было на ландтаге 1743 г. и во время обсуждения инструкций депутатам от герцогства на Гродненский сейм 1744 г. [23. С. 27], а с другой — стремилось не допустить попыток избрания нового герцога в Курляндии, что видно, в частности, из инструкции министру в Варшаве М. Н. Волконскому 1757 г. [24].

Только в годы Семилетней войны, в 1758 г., в Петербурге было дано согласие на избрание курляндским герцогом саксонского принца Карла (подробнее см. [16. С. 66—96; 22. С. 62—96; 23. С. 32—59]). Это означало существенный шаг назад в русской политике в курляндском вопросе, потому

что, во-первых, укрепляло позиции в Курляндии саксонской династии и польской короны, во-вторых, могло оживить попытки вновь включить герцогство в состав Речи Посполитой, в-третьих, создавало трудности в управлении герцогскими доменами, которые еще в 1739 г. были формально уступлены Бирону [16. С. 41—42] и могли теперь стать объектами претензий со стороны нового герцога, в-четвертых, настораживало стремление Карла укрепить в Курляндии позиции католической церкви и, наконец, в-пятых, создавало трудности для пребывания в герцогстве русских войск.

Избрание Карла было встречено со стороны части курляндского дворянства с неудовольствием. 17 октября 1759 г. оберраты представили ландтагу проект реверсалий, в котором герцог требовал уравнивания в правах протестантской и католической церковью в Курляндии, последняя в конфессиональном отношении должна была подчиняться польским епископам. Карл пытался также добиться для себя права предоставлять герцогские владения в пользование не только курляндскому рыцарству, но и иным удобным ему лицам. Очевидно, что имелись в виду представители польской и саксонской знати. Дворянство требовало обсуждения с его представителями государственных дел, герцог же настаивал на частном характере подобных обсуждений, что позволяло ему в известных случаях поступать вопреки мнению рыцарства. Дворянство также требовало для себя права избрания должностных лиц и членов герцогского суда. Карл, напротив, добивался права их назначения, причем среди обергауптманов должен был быть как минимум один католик, а среди гауптманов — два [23. С. 47—50]. В этих реверсалиях определенно отразилось стремление саксонской династии укрепить свои позиции в Курляндии и создать предпосылки для ее включения в состав польско-литовского государства, но в качестве наследственного владения дома Веттинов — проект, видимо, не забытый дрезденским двором со времен Августа II.

Защитником рыцарских привилегий выступило правительство России. Рескриптом от 31 июля 1761 г. К. Симолину, русскому послу в Митаве, курляндцу по происхождению, имп. Елизавета требовала примирения партий, особенно в вопросах религии, гарантий сохранения существующего порядка избрания герцога, подтверждения привилегий курляндского дворянства, отказа герцога впредь от покупки аллодиальных мыз [16. С. 56].

После смерти императрицы Елизаветы и свержения Петра III правительство Екатерины II принимает сторону эрнстенианцев и высказывается за восстановление Эрнста Иоганна Бирона на престоле. В рескрипте К. Симолину от 4 июля 1762 г., т. е. почти сразу после переворота Екатерины II, отменялись все распоряжения предыдущего царствования, которые касались наложения ареста на герцогские доходы, выдвижения кандидатуры на престол голштинского принца Георга, которого, помимо Петра III, поддерживала и Пруссия, и ставилась задача «фаворитизировать более партию Биронову, нежели других» [25. С. 13]. Это ясно продемонстрировало намерение России отказаться от какого-либо соглашения в курляндских делах с Польшей, Саксонией, Пруссией и Голштинией и добиваться избрания герцога, целиком зависимого только от Петербурга. Причем в России проявляли в этом вопросе немалую поспешность. 23 июля следует новый рескрипт, которым предписывалось усилить поддержку эрнстенианцев [25. С. 32]. 3 августа 1762 г. Екатерина II отправила грамоту Августу III, которая являлась по сути официальной декларацией русского правительства по курляндскому вопросу. В ней императрица объявляла об освобождении Бирона, ссылаясь при этом на многократные в прошлом просьбы как со стороны курляндского дворянства, так и короля и Речи Посполитой, о возвращении герцогу всех секвестрованных имений и предлагала королю «восстановить герцога Эрнста Иоганна во владении поместных его княжеств со всеми ему единожды признанными правами» [25.

С. 50—51]. В тот же день рижскому генерал-губернатору Г. Броуну было предписано направить в Митаву в распоряжение К. Симолина батальон, чтобы не допустить беспорядков, хотя и делалась оговорка о предотвращении возможного насилия [25. С. 48—49].

4 августа 1762 г. Бирон и Екатерина II обменялись специальными актами, причем проект акта от имени Бирона был составлен в Коллегии иностранных дел, а сам герцог лишь подписал и скрепил печатью его немецкий перевод. Россия официально обязалась восстановить Бирона в правах на владение герцогством, снять секвестр со всех аллодиальных имений, находящихся под управлением России. Важнейшими обязательствами со стороны герцога были: предоставление свободы православной церкви, открытие гаваней для свободного захода русского флота, свободный проход русских войск через территорию герцогства, свободное движение русских товаров, запрет на вывоз хлеба в страны, воюющие с Россией. Акт со стороны Бирона открывался его полным герцогским титулом, что формально означало непризнание инвеституры герцога Карла и нарушение ленных прав польской короны и Речи Посполитой. Это неизбежно должно было вызвать недовольство в Варшаве, где находился и Август III. Поэтому было предложено польскому королю и герцогу Карлу предоставить в качестве компенсации епископства Минстерское и Падерборнское, а также город Эрфурт.

Соответствующая грамота была отправлена польскому королю. Уже 19 августа 1762 г. императорским рескриптом у И. Ржичевского, секретаря русской миссии в Варшаве, требовали сведений о реакции на эти предложения в Польше [25. С. 81—83]. Ответ был получен, но не от короля, а от коронного канцлера Малаховского. Возражения польского двора сводились к следующему: Бирон, будучи герцогом курляндским, не оставил свою службу в России, более того, являлся даже регентом; не жил в герцогстве; не выполнил условий, предусмотренных договором Кетлера; русское правительство, по заявлению посланника Г. Гроса, не имело намерения освободить Бирона [25. С. 100—103].

Суть ответов, составленных А. П. Бестужевым-Рюминым и Г. Кейзерлингом, русским послом в Варшаве, состояла в утверждении, что Бирон не нарушал своих обязательств как вассал польского короля, что никогда прежде со стороны короля и республики эти обвинения против него не выдвигались. Специальным рескриптом императрицы от 29 августа 1762 г. И. Ржичевскому предписывалось, чтобы генеральный сейм 1762 г. был сорван в самом начале [25. С. 99—100]. Тем самым старались не допустить обсуждения на сейме курляндских дел и тем более назначения польских комиссаров в Курляндию. В сентябре 1762 г. был получен ответ от Августа III на грамоту Екатерины II от 3 августа 1762 г. От И. Ржичевского в Варшаве уже знали о том, что Петербург отверг все претензии польской короны к Бирону, поэтому главным требованием польского короля было прибытие Бирона в Варшаву для повторного получения инвеституры [25. С. 125]. Г. Кейзерлинг и А. П. Бестужев-Рюмин, советники Екатерины по польским и курляндским делам, в ответ на это в специальной записке предлагали аккредитовать при Бироне министра К. Симолина, сославшись на то, что принц Карл отказался пропустить через Курляндию русские войска. Это означало по сути дипломатическое признание Бирона. Однако допускалось непосредственное обращение Бирона к польскому королю, что, по мнению авторов записки, должно укрепит позиции Бирона в Варшаве [25. С. 125]. На основании этой записки были составлены рескрипты И. Ржичевскому в Варшаву и К. Симолину в Митаву [25. С. 131, 141].

Однако в октябре 1762 г. в Петербурге оставили намерение мирно уладить курляндское дело в Варшаве. 17 октября 1762 г. К. Симолину посылается рескрипт с требованием: «Тамошние кирхшпили довести буде не до чрезвычайного сэймика, то по меньшей мере до каких-либо братских

собраний, в которых бы могло произойти явное разделение в земском правлении, и мы бы приглашены были к их соединению по той протекции, которую мы всей Курляндии всегда обещали, дабы мы, таким образом, как призванные могли прямо в дела их вмешаться и тем утвердить там старого герцога Эрнста Иоанна» [25. С. 156]. Этот рескрипт свидетельствовал об определенных изменениях в русской политике в Курляндии. Если в августе и сентябре 1762 г. в Петербурге стремились достичь своих целей путем соглашения с польским королем, то теперь ставка делалась на раскол в лагере курляндского дворянства и на использование силы, в частности возвращавшихся из Пруссии русских войск. Такое ужесточение позиции России неизбежно должно было вызвать недовольство в Вене и Париже. Если для Марии-Терезии и Кауница главной задачей являлась поддержка саксонского союзника, то для Франции важно было сохранить влияние своих сторонников в Польше, положение которых должно было осложниться в случае успеха русской политики в курляндском вопросе. Ввиду этого Август III обратился к некоторым европейским дворам с просьбой выступить в поддержку прав принца Карла. Из всех европейских держав, к которым обратился за поддержкой польский король, только Пруссия недвусмысленно встала на сторону России. Фридрих II в своем ответе на демарш Августа III объявил, что Пруссия до сего времени не получала официального извещения о низложении Бирона и избрании нового герцога. Поэтому для Пруссии Бирон остается законным герцогом курляндским с 1737 г. [25. С. 614].

29 октября в Коллегии иностранных дел состоялась конференция, в которой участвовали А. Бестужев-Рюмин, М. Воронцов, Н. Панин, А. Голицын, А. Олсуфьев, А. Строганов и секретарь И. Пуговишников [25. С. 164—165]. Примечательно, что впервые в обсуждении курляндских дел участвовал Н. И. Панин. В мнении коллегии отмечались попытки Австрии, Франции и Испании повлиять на позицию Петербурга и поддержать принца Карла в борьбе за Курляндию. В докладе коллегии, утвержденном Екатериной II, ставилась следующая задача: «Объявить польскому, венскому, а также и французскому, и испанскому дворам..., что императрица предотвращает восстановление Эрнста Иоанна на решение курляндского рыцарства и республики польской..., производить здешние о том старания стороною и скрытно, употребляя на то даже деньги,— в Курляндии посредством противников Карла, а в Польше — через сторонников России и в особенности князей Чарторыских» [25. С. 167].

Однако ни дипломатические демарши, ни деньги, раздаваемые сторонникам Бирона как в Курляндии, так и в Польше, не привели к ожидаемому результату. К. Симолин сообщил в Петербург, что не удается не только собрать ландтаг, но и братские конференции. Тридцать депутатов от кирхшпилей, собравшиеся у К. Симолина в присутствии присланного от Бирона гофмаршала, согласились только направить письмо Екатерины II с поздравлением по случаю коронации и с благодарностью за освобождение их герцога. В свою очередь Бирон писал Симолину, что переговоры с Польшей ничего не дадут и просил Петербург действовать «без церемоний». Сообщая об этом, Симолин добавлял, что вся Курляндия поддерживает герцога Эрнста Иоанна [26. С. 180]. В октябре 1762 г. в Петербурге вместе с письмом Э. И. Бирона получили записку неизвестного автора, вероятно, одного из сторонников российской партии в герцогстве, в которой был предложен перечень неотложных мер со стороны России: во-первых, необходимо взять под контроль герцогские домены, прежде чем принц Карл соберет с них доходы, во-вторых, отказаться от всяких контактов с дрезденским двором и отправить депутации в Петербург и Варшаву для обоснования незаконности передачи герцогства во владение принцу Карлу [27].

В этих условиях в Петербурге решили действовать. По указу императрицы

2 декабря 1762 г. Симолину в Митаву был отправлен рескрипт, которым предписывалось наложить секвестр на все доходы принца Карла. В рескрипте также содержалась угроза повторно взыскать арендные и иные платежи с тех дворян, которые будут, несмотря на запрещение, вносить деньги в герцогскую казну. Раздражение в связи с неуступчивостью саксонского двора достигло в Петербурге крайней степени. В письме Кейзерлингу от 7 декабря 1762 г. Екатерина II велела дать понять графу Г. Брюлю, первому министру Августа III, что если по курляндским делам он будет сопротивляться ее планам, она «изведет его в конец и выгонит из Польши» [25. С. 201—203].

Тогда же положение в Курляндии рассматривалось в Коллегии иностранных дел. Проводилось оно в отсутствие А. П. Бестужева-Рюмина, который, впрочем, подал особое мнение. Рекомендации коллегии были определены позицией Н. И. Панина. В коллежском мнении отмечалось, что меры, принятые до сих пор для восстановления правления Бирона, недостаточны. Было предложено издать от имени Бирона универсал о его приезде в герцогство и о сохранении в силе присяги курляндского дворянства, ему данной. Далее предлагалось от имени дворянства направить в Варшаву депутата с просьбой уничтожить инвеституру принца Карла, так как не все кирхшили принесли ему присягу. Приезд Бирона в Митаву планировался в сопровождении русских войск. Коллегия подтверждала необходимость сохранения секвестра на герцогские доходы до восстановления Бирона в правлении, а также предлагала передать через кого-либо из оберратов принцу Карлу требование покинуть Курляндию. «Но если он упорно будет тому супротивляться, то легко статься может, что и собственную свою персону подвергнет неприятствам» [25. С. 204—208]. Особое мнение А. П. Бестужева-Рюмина мало чем отличалось от мнения коллегии. Однако оно свидетельствовало о том, что слизаветинский канцлер был отстранен от выработки политики России в курляндском вопросе.

Ужесточение позиции Петербурга, начало которому положило письмо императрицы Г. Кейзерлингу от 7 декабря 1762 г., было, видимо, связано с влиянием Н. И. Панина, который, в соответствии с утвержденным императрицей мнением коллегии, составил рескрипты Симолину от 9 и 10 декабря 1762 г. [25. С. 211—212]. Однако главным инициатором решительных действий в Курляндии являлась сама Екатерина II. В ноябре 1762 г. И. Ржичевский доносил из Варшавы о том, что польский король намерен послать в Митаву двух сенаторов для поддержки принца Карла. Он также сообщал, что канцлер литовский М. Чарторьский намерен отказаться от утверждения инструкции сенаторам. Это явно указывало на намерение польского короля направить комиссию в Курляндию без соответствующего решения сейма. Екатерина II 10 декабря 1762 г. вновь в раздражении угрожает «погибелью» графу Г. Брюлю, неслестно отзываясь о нем, написав, что он «бродлив как кошка и труслив как заяц» [25. С. 211—212]. В ответ на просьбу польской стороны вывести русские войска из Курляндии, ленного владения Речи Посполитой, императрица заявила, что войска, прибывшие в Ригу, служат для защиты законного герцога, и что как только он будет вне опасности, эти войска будут отозваны [25. С. 221].

К концу декабря ситуация в Курляндии достигла крайнего напряжения. Екатерина II 31 декабря распоряжается не допускать польских комиссаров в Курляндию, в качестве повода ссылаясь на отсутствие в инструкции комиссарам подписи и печати канцлера литовского. 3 января 1763 г. Симолину направляется рескрипт о приезде Бирона в Митаву, который должен был состояться 11 января. В этот же день императрица дает согласие на конфедерацию в Польше во главе с Чарторьскими [25. С. 244—249].

В это время Симолин доносил из Митавы, что там все готово для публичного собрания всего курляндского дворянства, которое будет при-

урочено к приезду Бирона, что на герцогские доходы и арендные деньги наложен секвестр. Екатерина наложила резолюцию: «Написать к Симолину от меня благодарение за его ревностное исполнение нашей воли» [25. С. 250].

В январе 1763 г. Бирон торжественно прибыл в Митаву, где был встречен дворянством и русскими войсками. Гвардию герцога Карла разоружили. На 30 января было назначено начало братской конференции, которая продолжалась до марта 1763 г. На конференции оберратами было предложено три вопроса: считать ли настоящее собрание полномочным ландтагом; являются ли права Э. И. Бирона обоснованными и несомненными; едины ли депутаты в своем решении. После того как конференция утвердительно ответила на эти вопросы, в специальной записке ландгофмейстер фон Ховен заявил, что не подвергает сомнению права Бирона, но не может признать его правящим герцогом, так как в Митаве находится иной правящий герцог — принц Карл [23. С. 59]. Окончательное решение вопроса вновь откладывалось и переносилось в Варшаву.

Принц Карл, чтобы выиграть время, предпринял попытку обратиться лично к Екатерине II. Его письмо было вручено императрице 16 февраля 1763 г. В нем принц Карл заявляет, что не препятствовал проходу русских войск через герцогство, а лишь ожидал соответствующих повелений от Августа III, жалуется на Симолина, по приказу которого все улицы наполнены пикетами и часовыми и который требует, чтобы он, Карл, покинул герцогство, если не желает видеть себя «подвержену худым следствиям» [28].

Письмо принца Карла должно было продемонстрировать лояльность самого автора, а косвенно и дрезденского двора по отношению к Петербургу и в то же время поставить решение курляндского вопроса в зависимость от позиции короля и сейма в Варшаве. Однако принц Карл и его покровители, видимо, не надеялись только на сейм. К. Х. Хейкинг сообщает, что в конце 1762 или начале 1763 г. принц Карл отправил его отца, гауптмана города Дурбена, в Варшаву, чтобы добиться помощи от Августа III, германского императора, испанского и французского королей. Усилия гауптмана оказались тщетными. Он добился в Варшаве лишь посылки комиссаров, сенаторов Платера и Липского, в Курляндию [23. С. 16—17]. Сведения мемуариста нуждаются в дополнении. Как сообщил из Варшавы 6 января 1763 г. прусский резидент Бенуа, король принял решение собрать сенат для поддержки принца Карла [29. С. 12—13]. Тогда же в Варшаве и Дрездене начали хлопотать о соответствующих демаршах со стороны европейских дворов, следствием чего явилась декларация испанского короля в поддержку принца Карла, опубликованная в Варшаве весной 1763 г. [29. С. 94—97]. Обсуждение вопроса о Курляндии в сейме и сенате являлось для Августа III особенно деликатным делом, поскольку сеймы 1758, 1760, 1761, 1762 гг. были сорваны [30], а решения сената не имели достаточной силы без санкции послов. Трудность апелляции к сейму состояла еще в том, что избрание принца Карла не было официально узаконено в Варшаве, а решено частным образом во время пребывания в Варшаве в 1758 г. депутата Шеппинга между ним, канцлером Малаховским, графом Брюлем и королем Августом [22. С. 80—81], даже без одобрения сената, который ограничился подтверждением конституций 1736 г. [31. С. 78—79]. На сенаторских собраниях 1761 г. и 1762 г. вопрос о Курляндии не ставился. Правда, в 1762 г. сенат высказался за проведение экстраординарного сейма, который должен был, в частности, узаконить избрание Карла [31. С. 92—93].

Новь к вопросу о Курляндии собрание сенаторов обратилось в марте 1763 г. В его постановлении отмечалось, что Э. И. Бирон не имеет прав на герцогский престол и, напротив, принц Карл является законным герцогом

курляндским [29. S. 96; 31. S. 98—99]. Однако против этого решения выступили многие сенаторы, о чем в Берлин и Кенигсберг доносил прусский резидент Бенуа. Он же приводит текст речи канцлера литовского М. Чарторьского, который, ссылаясь на конституцию 1736 г., обосновывал законность прав Э. И. Бирона. К его мнению присоединились И. Массальский, И. Шептицкий, А. Островский, М. Массальский, А. Замойский, А. Чарторьский, М. Ржевуский, М. Солтык, А. Мошгенский, Й. Яклинский, Ф. Чарторьский [29. S. 84—87, 95]. Таким образом, сенат оказался фактически расколот. Тем не менее, без ссылки на решение сенаторов, Август III 15 апреля 1763 г. издает рескрипт, в котором объявляет Бирона узурпатором и освобождает курляндское рыцарство от присяги, ему данной [23. S. 63—65].

Однако эта последняя попытка аннулировать решения ландтага 1763 г. оказалась безуспешной, не помогло также вмешательство комиссии польского сената и угроза привлечь к реляционному суду Бирона и его сторонников: В апреле 1763 г. принц Карл уехал из Митавы в Варшаву, герцогский дворец был занят русскими войсками, а в июле Курляндию покинули и польские комиссары, сенаторы Плалер и Липский. Курляндское дело успешно завершилось. В мае 1763 г. Бирон получил поздравительное письмо от Фридриха II в ответ на благодарственное послание курляндского герцога за содействие, оказанное ему прусскими представителями в Варшаве [23. S. 65]. О том, что это не были пустые слова, свидетельствует рескрипт в Берлин князю Долгорукову, подписанный М. Воронцовым и А. Голицыным, в котором сообщалось о том, что Фридрих II распорядился оказать поддержку Бирону со стороны прусских представителей в Варшаве [25. С. 320]. Таким образом, своим успехом в решении курляндского вопроса Россия была в известной мере обязана благожелательной позиции Пруссии.

Восстановление власти Бирона в Курляндии, осуществленное в 1763 г. и закрепленное в решениях Варшавского сейма 1764 г. [19. Т. 7. S. 14—15], означало по существу присоединение герцогства к России и сводило значение самого герцога до уровня российского губернатора.

Политика российского правительства в Курляндии в XVIII в. находилась как бы в тени более значительных внешнеполитических акций российского абсолютизма и это естественно, так как роль герцогства в европейской политике была весьма невелика. В русско-курляндских отношениях, тем не менее, проявились известные черты, которые не только позволяют сделать выводы относительно методов, с помощью которых Петербург стремился достичь своих внешнеполитических целей, но, что весьма существенно, именно в Курляндии эти средства были найдены, впервые опробованы и более широко применены Российской империей в 60—90-е годы XVIII в.

Успешное для России разрешение курляндского вопроса было подготовлено политическими, дипломатическими и военными средствами. В политической области необходимо указать на практику привлечения на сторону России господствующих сословий Курляндии, рыцарства и церкви. Это достигалось путем политики, направленной на охрану традиционных сословных прав и привилегий феодалов, поддержку консервативной части дворянства, выступавшей против любых, даже самых робких попыток усиления герцогской власти. Особое внимание при этом уделялось защите поземельных интересов дворянства, как это было, в частности, в связи с ревизией 1720 г. Однако, идя навстречу дворянским пожеланиям, выступая в роли покровителя традиционных поземельных отношений и сословных учреждений, Россия стремилась в максимальной степени взять их под свой контроль, использовать для борьбы с противниками русской политики.

Средством усиления влияния России в герцогстве являлось привлечение курляндского дворянства на русскую службу. Особенно заметную роль играла политика защиты традиционных прав протестантской церкви и

покровительства православной общине в Курляндии. Защищая аугсбургское вероисповедание в Курляндии, российская дипломатия не только противодействовала влиянию в герцогстве католической церкви, но и препятствовала сближению рыцарства и польской шляхты. Причем именно в Курляндии Россия прямо потребовала угодных ей изменений политики в конфессиональном вопросе, что означало по существу непосредственное вмешательство во взаимоотношения верховной власти и сословий, переход к протекторату в отношении не католических вероисповеданий.

Большое значение в Петербурге придавалось охране прав органов дворянского сословного представительства: кирхшпилей, ландтагов, а также земских должностных лиц — гауптманов и обергауптманов. Вместе с тем на рубеже 1762—1763 гг. в этой политике наблюдается характерная перемена. Если раньше Россия выступала в роли охранителя формального единства господствующего сословия в борьбе с герцогом, то позже открыто взяла курс на его раскол, впервые оказав покровительство антигерцогской конфедерации.

Разумеется, присвоив себе роль арбитра в отношениях между рыцарством и герцогом, в Петербурге уделили немалое внимание контролю за последним. Российский протекторат касался не только сословий, но и самого герцога. Дело было начато с установления фамильного союза с династией Кетлера, а после ее прекращения Россия добилась избрания в 1737 г. Э. И. Бирона на герцогский престол, что означало кардинальное нарушение статуса Курляндии по отношению к Речи Посполитой. Еще до избрания Бирона Россия сумела добиться контроля за герцогскими доменами и назначениями на земские должности. Важнейшим результатом борьбы вокруг курляндского престола 1762—1763 гг. стало избрание герцогом «природного курляндца» и окончательное устранение всех иных кандидатов, так или иначе связанных с европейскими дворами, в первую очередь с саксонской династией. Курляндское дело продемонстрировало невозможность компромисса с Речью Посполитой и Дрезденом и явилось для правительства Екатерины II пробным камнем будущего союза с Пруссией.

Таким образом, именно в период борьбы за Курляндию на практике обозначились первые элементы будущей северной системы и взаимодействия с Фридрихом II в отношении Польши. Разумеется, осуществление всех этих шагов было бы невозможно без прямого военного присутствия России в Курляндии. Однако, отдавая должное решающей роли этого фактора, следует подчеркнуть, что применение военной силы было дополнено рядом мероприятий, опыт применения которых в известной мере использовался в 60—90-е годы XVIII в. в отношении Речи Посполитой, Крыма и Оттоманской Порты.

События в Курляндии 1762—1763 гг. оказали существенное влияние на изменение политики России в отношении Речи Посполитой и вызвали кризис польско-российских отношений, который выразился в отказе России от поддержки саксонской династии и подготовке вторжения в Польшу в случае смерти Августа III с целью избрания нового короля — ставленника России. Решение об этом было принято в начале февраля 1763 г., в период наибольшего обострения российско-польских противоречий в Курляндии [25. С. 298—301; 32; 33]. Таким образом было положено начало новому этапу политики России в Польше, последствия которого открыли путь к первому разделу Речи Посполитой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбузов Л. Очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. СПб., 1912.
2. История Латвийской ССР. Рига, 1952. Т. 1.
3. Чешихин Е. В. История Ливонии с древнейших времен. Рига, 1884—1885. Т. 1, 2.

4. *Форстен Г. В.* Балтийский вопрос в XVI—XVII ст. (1544—1648). СПб., 1893—1894. Т. 1, 2.
5. Archiv für die Geschichte Liv-Esth- und Curlands. Dorpat, 1842—1861. Bd. 1—8.
6. *Kalnins V.* Kuršemes herzogistes valsts iekārta un tiesības (1561—1795). Riga, 1963.
7. *Manteuffel G.* Inflanty Polskie. Poznań, 1879.
8. Polska a Inflanty. Praca zbiorowa. Gdynia, 1939.
9. *Seraphim E.* Geschichte Liv-Est- und Kurlands. Reval, 1895—1896. Bd. 1. 2.
10. *Визраб Г. И.* Прибалтийские немцы. Юрьев, 1916.
11. Curländische Statuten, oder Rechte und Gesetze zum benuff des Adels im Curland und Semgallen. Mitavia, 1617.
12. Die Quellen des Curländischen Landrechts. Dorpat, 1848.
13. *Hupel A. W.* Statistisch-Topographische Nachrichten von den Herzogthümern Kurland und Semgallen. Riga, 1785.
14. *Sturm E.* Grundzüge der Staatsorganisation des Herzogtums Kurland im XVII Jh. Greifswald, 1919.
15. *Ziegenhorn Ch. G.* Staatsrecht der Herzogthümer Kurland und Semgallen. Königsberg, 1772.
16. Курляндские, ливляндские, эстляндские и финляндские дела в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. М., 1896.
17. *Kallmeyer Th.* Die Begründung evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Gothard. Riga, 1851.
18. *Tetsch K. L.* Curländische Kirchen-Geschichte von dem Zustande dieser Provincial-Kirche, bis zum Ableben Gothards ersten Herzog zu Curland. Riga; Leipzig, 1767—1770.
19. Volumina legum. Petersburg, 1859.
20. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. IV.
21. *Полиевктов М.* Балтийский вопрос в русской политике после Ништадского мира (1721—1725). СПб., 1907.
22. *Щебальский П. К.* Политическая система Петра III. М., 1870.
23. *Heyking K. H.* Aus Polens und Kurlands letzten Tagen. Berlin, 1897.
24. Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 79. Оп. I. 1757. Д. 6 — Инструкция министру в Варшаве М. Н. Волконскому. П. 20. Л. 46.
25. Сборник Русского исторического общества. СПб., 1885. Т. 48. Политическая переписка Екатерины II. Ч. 1. 1762—1763 гг.
26. *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1965. Т. XIII.
27. Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 63. Оп. 7. Д. 27. Л. 6—8 об.
28. Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 63. Оп. 7. Д. 1. Л. 5—6 об.
29. Geheimes Staatsarchiv (Berlin-Dalem). Staatsarchiv Königsberg. Etatsministerium. Tit. III. № 246.
30. *Konopczyński W.* Chronologia sejmów Polskich, 1493—1793. Kraków, 1948. № 227—230.
31. Archiwum glowne akt dawnych (Warszawa), Archiwum publiczne Potockich. № 70 Senatus konsulta, 1732—1763.
32. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 79. Оп. 6. Д. 800. Л. 54—58. Рескрипт № 18 от 8 февраля 1763 г. Г. Кейзерлингу.
33. *Чечулин Н. Д.* Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. СПб., 1896.



ДЬЯКОВ В. А.

Т. КОСТЮШКО И ЕГО СОРАТНИКИ ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ ПРИ МАЦЕЙОВИЦЕ (1794—1798)

Польскому восстанию 1794 г., подавление которого непосредственно предшествовало окончательному разделу Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией, посвящено множество изданий, в том числе документальных и источниковедческих. Однако в специальной литературе проблемы, связанные с репрессиями царских властей по отношению к руководящим деятелям инсurreкции и рядовым повстанцам, захваченным в качестве военнопленных или политических преступников, едва ли не наименьшим образом обеспечены источниками. В немалой мере это объясняется тем, что в 1945—1989 гг. изучение данной тематики не пользовалось поддержкой сверху ни в Польской Народной Республике, ни в Советском Союзе. Между тем речь идет не только о судьбе ряда видных деятелей Польши, многих тысяч польских граждан, но и о существенных вопросах международных, прежде всего российско-польских, отношений.

Как известно, польские повстанцы 1794 г. были разгромлены соединенными усилиями регулярных армий России и Пруссии. Решающую роль сыграли при этом две группировки российских войск, одна из которых — во главе с А. В. Суворовым — быстро продвигалась от Бреста к Варшаве, а другая — под командованием И. Е. Ферзена — находилась юго-восточнее польской столицы. Последней из названных группировок противостояли наиболее боеспособные формирования повстанцев, командование над которыми принял Т. Костюшко. Рано утром 29 сентября (10 октября) 1794 г. Ферзен перешел в наступление, и в районе укрепленного населенного пункта Мацейовице состоялось кровопролитное сражение. Колонна генерала А. И. Хрущева, наносившая главный удар на Мацейовице с фронтального направления, встретила сильное сопротивление оборонявшихся. Однако вскоре обозначился успех на левом фланге наступавших, где действовали колонны Ф. П. Денисова, А. П. Торماسова и П. А. Толстого. Им удалось обойти мацейовицкие укрепления и прорваться в тыл повстанческих сил. К полудню сражение закончилось победой российских войск. Тысячи повстанцев погибли, в плен попали Т. Костюшко, его штаб и пятеро старших начальников, а также 200 офицеров и около 2 тыс. младших командиров и рядовых. С российской стороны потери составили 1300 человек, в том числе 30 офицеров [1].

Дьяков Владимир Анатольевич — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

На следующий день после Мацейовицкого сражения генерал Ферзен отправил польскому королю Станиславу Августу довольно бесцеремонное письмо, требуя «увольнения» всех задерживаемых в Варшаве российских подданных. Это, заявлял генерал, «увеличит во мне желание» сделать со своей стороны то, что можно в отношении пленных поляков. Король ответил, что согласится на это только при условии освобождения всех его подданных, задержанных русской стороной. Несколько позже, 4 (15) октября, повстанческое руководство в лице Высшего национального совета сообщило Т. Костюшко о своей готовности принять такое условие ради освобождения главного начальника восстания. Переговоры относительно обмена пленными и заложниками прекратились в связи с решительными действиями российских войск под командованием А. В. Суворова, которые 24 октября (4 ноября) штурмом взяли предместье Варшавы на правом берегу Вислы, а через три дня торжественно вступили в польскую столицу. Томаш Вавжецкий, занявший пост начальника восстания, вскоре после капитуляции выехал из Варшавы в северо-западном направлении вместе с президентом столицы Игнацием Закшевским; покинули Варшаву и такие видные деятели восстания как Игнаций Потоцкий и Тадеуш Мостовский. Все они через несколько дней также оказались в плену, как и многие офицеры повстанческих войск, не пожелавшие попасть на территорию, которую контролировала Пруссия.

Документальные источники о подавлении инсurreкции 1794 г. и пребывании в царской неволе ее руководителей и участников имеются во многих архивохранилищах Российской Федерации. Часть из них была опубликована в изданиях, которые сейчас почти недоступны [2; 3]. Основная же масса архивных материалов, касающихся среднего и низшего командного состава и рядовых повстанцев, осталась вне поля зрения исследователей. Охватить все относящиеся к теме материалы российских архивов невозможно. Ниже речь пойдет только о том наиболее важном и содержательном комплексе источников, который хранится в Российском государственном архиве древних актов (бывшем ЦГАДА СССР) и включает документы, отложившиеся в делопроизводстве Тайной экспедиции Сената — высшем органе политического сыска в тогдашней России.

Участников восстания, находившихся под арестом или оказавшихся на положении военнопленных, Тайная экспедиция строго делила на две категории. К первой категории были отнесены лица, которые в момент задержания являлись подданными короля Станислава Августа, конкретно — Т. Костюшко и другие руководящие деятели инсurreкции, а также их секретари и адъютанты. Они содержались в Петербурге в непосредственном ведении Тайной экспедиции, которая и вела следствие под руководством генерал-прокурора А. Н. Самойлова. Во вторую категорию были выделены те, кто являлся российским подданным до 1772 г. или стал им после двух первых разделов Речи Посполитой. Ими занималась Смоленская следственная комиссия, созданная по именному указу Екатерины II и подчиненная той же Тайной экспедиции. Именно поэтому материалы на последственных, отнесенных к первой категории, оказались в архивном фонде «Уголовные дела по государственным преступлениям» (Ф. 6), а документы об остальных — в фонде 7, в котором сосредоточены дела Преображенского приказа, Тайной канцелярии и Тайной экспедиции.

В описи фонда 6 значится семь папок с документами о повстанцах 1794 г. — дела 547, 548 (в двух частях), 549, 550, 551 и 552. Значительная часть собранных в этих папках материалов была издана в 1866—1867 и 1912 гг. (см. [2; 3]), но без архивных ссылок и необходимого археографического оснащения. В последующие годы исследователи, занимавшиеся историей восстания 1794 г., и биографы Т. Костюшко не обращались к подлинным

делам, а ограничивались знакомством с опубликованными материалами, которые далеко не исчерпывают содержание семи перечисленных дел Тайной экспедиции.

Дело 547 в фонде б озаглавлено «О поляках, сужденных за враждебные замыслы против России» и в целом охватывает период с 1767 по 1803 гг.; восстанию 1794 г. посвящены в нем листы 140—541. О содержании сгруппированных в этой части дела документов дают представление следующие подзаголовочные листы: «Допрос и показания генерала Костюшки»; «Допрос и показания Потockого»; «Допрос и показания Закржевского»; «Допрос и показания кастеляна Мостовского»; «Допрос и показания главного путеводителя варшавской революции Капостаса»; «Допрос и показания бывшего секретаря начальника Костюшки — Немцевича»; «Допрос и показания адъютанта генерала Костюшки — Фишера»; «Допрос и показания арестованного в Варшаве агента Бонно»; «Допрос и показания арестованного в Варшаве адъютанта Юзефа Понятовского-Серпинского»; «Допрос и показания бывшего польского министра Деболи»; «Допрос и показания секретаря короля польского Фризе»; «Донос Дениски по заговору польскому 1797 года»; «Материалы по Смоленской следственной комиссии».

Дело 548 имеет заглавие: «О доставлении в Санкт-Петербург польских мятежников Тадеуша Костюшки, графа Игнация Потockого, Вавржецкого, графа Мостовского, Закржевского, адъютанта Фишера, секретаря Немцевича, адъютанта Вавржецкого-Гофмана, Капостаса и Килинского. Тут же об их освобождении». Первая часть дела состоит из 220, вторая — из 144 листов. Они включают весьма обильный поток официальной, полуофициальной и приватной переписки между разными чинами, которые охраняли арестантов и вели следствие, начиная с генерал-прокурора и шефа Тайной экспедиции Сената А. Н. Самойлова и других высших сановников России, кончая премьер-майором В. Титовым, который был главным охранником, и секунд-майором П. Ахматовым, занимавшимся хозяйственными делами арестантов. По имеющимся донесениям и другого рода документам дела 548 подробно прослеживается путь, по которому двигался до Петербурга конвой с мацейовицкими пленными, по ним можно довольно подробно ознакомиться с ходом следствия, узнать о физическом и моральном состоянии узников, о том, где и в каких условиях их содержали. Особый интерес представляют имеющиеся в деле материалы об освобождении главных обвиняемых в ноябре 1796 г., в том числе соответствующие указы Павла I, а также подлинные тексты тех клятвенных обязательств на верность новому российскому императору и его наследнику, которые вынуждены были подписать при освобождении Т. Костюшко и его ближайшие соратники (Д. 548. Ч. II. Л. 81—82, 85—86, 92—93, 95, 97—102 и др.).

Дело 549 (на 282 листах) является как бы продолжением дела 547; оно содержит разные варианты вопросных пунктов, предлагавшихся подследственным, черновики и промежуточные варианты полученных следствием ответов. Вопросы предлагались и ответы формулировались на различных языках по выбору обвиняемого; большинство предпочло французский язык, Т. Вавржецкий и Я. Килинский отвечали на польском, А. Капостас — на немецком. На подзаголовочном листе в начале дела имеется следующий перечень показаний: «Показания Вавржецкого с переводом; 1-е, 2-е и 3-е [показания] Капостаса — последние два с переводом; Килинского с переводом; Костюшки и Немцевича без переводу; Потockого, Мостовского и Закржевского — оригинальные отвезены к государыне, а 1-го показания Капостаса — остался у господина Макарова». Показания, которыми интересовались Екатерина II и ее личный секретарь А. С. Макаров, были возвращены в Тайную экспедицию и находятся в деле вместе с другими документами.

Следующее дело фонда (550) состоит из 43 листов и озаглавлено «О

камергеру короля польского Венгерском, арестованном по подозрению в принадлежности к заговору в Польшу противу России». Документы этого дела освещают действия польских патриотов в течение нескольких месяцев, предшествовавших началу восстания. Наибольший интерес представляют, во-первых, донос тайного агента, направленного в Литву российским резидентом в Варшаве О. А. Игельстромом (Л. 21—27), во-вторых, довольно пространные показания Клеменса Венгерского (Л. 28—33), в-третьих, тексты двух агитационно-пропагандистских сочинений заговорщиков, составленных в аллегорической форме и распространявшихся якобы в Индии (Л. 13—20).

Большое, состоящее из 403 листов дело 551 начинается с документов сентября 1797 г., а кончается материалами февраля 1798 г. Оно освещает предпринятые после амнистий Павла попытки польских патриотов на территориях, только что отошедших к Российской империи, создать новую сеть конспиративных организаций для продолжения борьбы за восстановление независимости. Дело озаглавлено «О поляках, участвовавших в литовском заговоре противу России — Домбровском, Юдицком, Цесарском и других». Фактически литовским заговорщикам посвящена лишь первая половина дела (Л. 1—219), а во второй части речь идет об аналогичных действиях патриотических сил на Волыни, в австрийской Галиции и османской Молдове. Наряду с судебными материалами по литовскому и волынскому заговорам в деле имеется несколько пространных текстов повстанческого генерал-майора Иоахима Дениско, который участвовал в восстании 1794 г., некоторое время стоял во главе конспираторов на Волыни, а затем послал донос в Тайную экспедицию и перешел на службу к российскому императору (Л. 356—371).

Как уже упоминалось выше, для рассмотрения «провинностей» активных участников восстания 1794 г., происходивших с ранее присоединенных к России территорий Литвы, Белоруссии и Украины, была создана в Смоленске специальная следственная комиссия; ее председателем Екатерины II назначила тамошнего генерал-губернатора генерал-поручика (позднее — генерал-лейтенанта) Г. М. Осипова. Архив Смоленской следственной комиссии не сохранился. Однако Г. М. Осипов и его подчиненные работали в тесном контакте с Тайной экспедицией, куда из Смоленска регулярно присылались не только разного рода запросы и донесения, но также изложения или копии наиболее важных показаний, сообщались предварительные формулировки обвинительных заключений на отдельных лиц, на основе полученных в ходе следствия материалов высказывались предположения о программе предвостанческой конспирации, организационной структуре и деятельности повстанческих властей, численности военных формирований в охваченных восстанием губерниях. Небольшая часть этих документов оказалась в деле 547 шестого фонда (Л. 510—541), но основная масса материалов собрана в седьмом фонде в пятитомном деле 2869, имеющем заглавие «О поляках, судимых в Смоленской следственной комиссии». Общий объем дела — около полутора тысяч листов, заполненных, как правило, и с лицевой, и с оборотной сторон.

Через полный цикл следствия в Смоленской комиссии прошли около 90 человек. Наиболее ценные сведения об их конспиративной и повстанческой деятельности содержатся в первой и второй частях дела 2869. Кроме организационно-финансовой переписки и регулярной информации о следственных действиях, в них хранятся копии именных указов Екатерины II, определивших задачи комиссии и решивших судьбу наиболее активных повстанческих деятелей, а также донесения Г. М. Осипова, адресованные либо фавориту императрицы П. А. Зубову, либо непосредственно на «высочайшее имя». В первой части дела 2869 около 200 листов занимают «экстракты» следствия об И. Дзялыньском, К. Муравском, М. Бернацком, Ю. Охощком, Ю. Куликовском и других обвиняемых (Л. 29—228). Там

же находятся материалы о рассмотрении обвинительных заключений специальной комиссией Сената, которая приговорила подсудимых к различным срокам ссылки в Западную Сибирь и так называемые внутренние губернии (Л. 231—299). В этой папке (Л. 433—462) подшиты документы о применении к осужденным амнистии, провозглашенной Павлом I по вошествии на престол и реализованной в 1796—1797 гг. Во второй части дела 2869 собраны переписка Г. М. Осипова с генерал-прокурором А. Н. Самойловым, а также материалы, которые дополняют и конкретизируют сосредоточенные в первой части обвинительные заключения. Представляют интерес, в частности, протоколы показаний К. Муравского (Л. 42—53), С. Солтана (Л. 73—74) и М. Бернацкого (Л. 88—91, 119—124), опись вещей И. Дзялыньского (Л. 6—9).

Третья и четвертая части дела 2869 (соответственно на 199 и 244 листах) посвящены реализации приговора Сената, а также дальнейшей судьбе осужденных и тех находившихся в Смоленске арестованных поляков, вина которых не была доказана. Этим последним отправляли на родину под поручительство местных властей, после чего их фамилии исчезали из переписки. Что же касается сосланных, то за смягчение наказания многим из них ходатайствовали родственники. Так, в декабре 1795 г. в Тайную экспедицию поступило письмо Францишки Солтан (урожденной Радзивилловой) с просьбой разрешить ей переписку с мужем С. Солтаном, отправленным в Казань (Ч. III. Л. 126—127); в том же деле (Ч. IV. Л. 90—111) хранится письмо С. Солтана к жене, которое по неизвестной причине не было вручено адресату. Из переписки выясняется, что супругам С. Солтана и Ю. Богуша было разрешено выехать в места ссылки мужей потому, что их имения были секвестрованы. Сохранилась также скандальная переписка с российскими властями жены К. Моравского, которая жаловалась, что ее муж промотал все имущество семьи и оставил детей без средств к существованию. Генерал-прокурор А. Н. Самойлов представлял по этому поводу доклад на высочайшее имя. В ответ Екатерина II распорядилась отдать жене Моравского отобранные при аресте мужа драгоценности, которые сохранялись в Смоленской казенной палате (Л. 193—195, 198, 222).

Документы в пятой части дела 2869 посвящены главным образом наиболее слабо изученному контингенту участников восстания 1794 г.— младшим командирам и рядовым тех воинских формирований Речи Посполитой, которые целиком перешли под командование Т. Костюшко. Оказавшись на положении военнопленных, тысячи повстанцев были сосредоточены в сборных пунктах на территории внутренних губерний России, а затем распределены для прохождения службы в воинские части, несшие караульную службу в безлюдных местах или в небольших населенных пунктах российской глубинки. В декабре 1795 г. А. Н. Самойлов по указанию императрицы разослал по губерниям и наместничествам специальный циркуляр о срочном представлении списков «всех генерально поляков», в которых кроме чина и имени надлежало указать возраст, место жительства и социальное положение до поступления на службу. Списки были получены из Новгорода, Воронежа, Казани, Харькова, Нижнего Новгорода, Костромы, Владимира, Твери, Тамбова, Орла, Курска, Смоленска, Новгорода-Северского (Л. 15—99). В целом, речь идет о многих сотнях повстанцев, а единообразность имеющихся сведений открывает возможность для их статистической обработки.

Кроме списков рядовых повстанцев, в пятой части дела 2869 имеется еще несколько заслуживающих внимания документов, связанных с деятельностью Смоленской следственной комиссии. Во-первых, это составленная в феврале 1796 г. сводка показаний офицеров и солдат повстанческих формирований, конкретизирующая их участие в событиях и содержащая некоторые демографические данные (Л. 74—85); во-вторых, французские

подлинники показаний К. Мораяского и С. Солтана (Л. 106—172); в-третьих, адресованные П. А. Зубову сообщения члена Смоленской следственной комиссии бригадира Русанова, которые местами имеют характер доносов, подвергающих сомнению правильность действий председателя комиссии Г. М. Осипова (Л. 174—186).

Среди других материалов РГАДА, непосредственно связанных с польским восстанием 1794 г., следует назвать дело 2808 седьмого фонда, озаглавленное «Об агенте французского правительства Жане Бонно». Бывший секретарь французского посольства в Варшаве, а с 1792 г. генеральный консул Жан-Александр Бонно был в марте 1793 г. арестован по приказу российского резидента Я. Е. Сиверса, вывезен в Петербург и находился под арестом в Петропавловской крепости до ноября 1796 г. Его показания, данные на французском языке в ходе следствия по делу Т. Костюшко и его сподвижников, находятся в деле 547 шестого фонда (Л. 381—402). Дело 2808 содержит написанные также по-французски воспоминания Бонно о его пребывании в Варшаве с 1775 г., причем особенно подробно освещаются события 1791—1793 гг. Содержание текста объемом в 360 листов далеко от полной откровенности; тем не менее из него можно извлечь немало разнородных сведений о политической обстановке в польских землях накануне инсurreкции, об интригах и интрижках в придворных кругах Станислава Августа.

Перечисленные документальные материалы вместе с иными источниками и имеющейся специальной литературой (в основном польской) позволяют подробно осветить все то, что связано с пребыванием в царской неволе Т. Костюшко и его сподвижников по восстанию 1794 г. Вот предельно краткая сводка сведений, которые представляются мне наиболее существенными.

Т. Костюшко попал в плен тяжело раненым. Автор наиболее солидной его биографии, Т. Корзон, приводит следующие результаты посмертного осмотра вождя инсurreкции: вся грудь покрыта шрамами, нога разодрана острием штыка, а голова носит следы трех перекрещивающихся между собой сабельных ударов [4]. На следующий день после Мацейовицкого сражения была сформирована конвойная команда для пленных руководителей восстания. В ее состав вошли: премьер-майор В. П. Титов, капитаны П. Жмиевский и Е. Удом, поручики И. Карпен и Мистров. Кроме того, к Т. Костюшко был прикомандирован военный лекарь Х. Штоф (Штофель). Тронулись в путь 2 (13) октября 1794 г. Т. Костюшко вместе с лекарем поместили в карете с откидным верхом; в другой карете ехали пленные генерал К. Князевич, секретарь Костюшко Ю. У. Немцевич и адъютант С. Фишер, а также майор Титов. Через пару дней прибыла из Варшавы собственная карета Костюшко с его слугой негром Джоном и поваром С. Балинским. Кроме того, руководящий повстанческий орган — Высший национальный совет — прислал Костюшко письмо и 4 тыс. дукатов.

Предписанный из Петербурга маршрут шел в обход территорий Литвы и Белоруссии, отчасти охваченных повстанческим движением, — через Киев, Чернигов, Могилев, Витебск, Псков и Новгород. Наличие среди пленных Костюшко приказано было хранить в глубокой тайне, называть его вымышленным именем. На случай проезда через Москву, а это одно время считалось вероятным, предусматривались чрезвычайные меры секретности. В Петербурге приказано было не появляться до наступления темноты, а въехав в город, некоторое время петлять по улицам, чтобы замести следы. 29 ноября (10 декабря) 1794 г. конвой глубокой ночью достиг Невы и на лодках переправил пленных в Петропавловскую крепость. Костюшко со слугой и поваром поместили в первом этаже комендантского дома, Немцевича и Фишера — в отдельные камеры Алексеевского рavelина, предназначенные для секретных арестантов.

На следующий день, не решаясь из-за ледостава воспользоваться лодочной

переправой, генерал-прокурор А. Н. Самойлов послал Костюшко написанное по-французски личное предписание не терять время и изложить на пронумерованных заранее допросных листах «апологию» своей жизни, начиная с момента принятия Конституции 3 мая 1791 г. Текст, который Самойлов получил через несколько дней, был весьма лаконичен и почти не содержал фамилий и конкретных фактов, интересующих Тайную экспедицию. Последовали новые «вопросные пункты» генерал-прокурора, но и на них Костюшко ответил кратко, спокойно и независимо. Несколько по-иному выглядели показания Немцевича и Фишера, но и в них почти не оказалось тех сведений о подготовке и ходе восстания, которые хотелось получить высшим российским властям и лично императрице.

И. Потоцкого, И. Закшевского, Т. Вавжецкого, Т. Мостовского, А. Капостаса, И. Килянского транспортировали в Петербург после подавления восстания, что существенно изменило обстановку. Их везли на перекладных с фельдъегерями северным путем (через Ригу). И. Потоцкого поместили сразу в один из пустовавших петербургских дворцов. Остальные некоторое время пробыли в Кронштадтской крепости, а затем их разместили в Петербурге под домашним арестом (кроме И. Килянского, который содержался в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости). Письменные их ответы на предложенные «вопросные пункты» существенно отличались друг от друга. Показания И. Потоцкого были краткими и уклончивыми; напротив, показания Т. Вавжецкого и А. Капостаса — весьма подробны, многословны, в них чувствуется стремление не рассердить генерал-прокурора и внимательно следившую за следствием императрицу. Чем-то средним между этими полусами выглядят менее пространные показания И. Закшевского и Я. Килянского, содержащие немало интересного для следствия материала, но не имеющие оттенка угодливости.

Следственная процедура в отношении Костюшко и его ближайших сподвижников фактически закончилась к середине 1795 г. Екатерина II, по видимому, не собиралась очень строго наказывать их как бывших подданных короля Станислава Августа. Ей нужно было поскорее оформить дипломатическими трактатами третий раздел Речи Посполитой, а для укрепления своей позиции в переговорах с Пруссией ей совсем не помешали бы хорошие отношения с мятежными поляками, оказавшимися в плену. Как бы то ни было, по приказу свыше охрана Костюшко должна была внимательно следить за его здоровьем, а генерал-прокурор не раз хлопотал об оказании медицинской помощи повстанческому вождю, причем Екатерина II позволяла использовать для этого даже собственного лейб-медика Д. Рожерсона.

Обстоятельства сложились так, что судьбу руководящих деятелей восстания 1794 г. в одночасье решил новый император Павел I. Трудно сказать, руководствовался ли он при этом государственными соображениями или просто принимал решение в духе, противоположном предшествующему царствованию. Во всяком случае на девятый день после смерти матери он лично посетил Костюшко, переведенного из Петропавловской крепости в один из пустовавших дворцов, и объявил о своем решении амнистировать участников восстания. 19 (30) ноября 1796 г. датирована «присяга на верность» российскому императору и его наследнику, которую Костюшко дал вместе с И. Потоцким; текст ее написан на польском языке, а засвидетельствован по-русски каноником М. Ростоцким [5]. При освобождении Павел I «пожаловал» Костюшко тысячу крепостных, но повстанческий вождь, не имея иных средств для существования, согласился взять лишь их казенную стоимость.

Польский народ не мог смириться с третьим разделом Речи Посполитой, который ликвидировал польскую независимую государственность. Польское освободительное движение не прекратилось после тяжелого поражения 1794 г., и Костюшко продолжал оставаться его признанным лидером. Однако фи-

зическое и духовное состояние главного начальника восстания было настолько тяжелым, что он решил радикально изменить обстановку и уехать в Северную Америку. По словам Ю. У. Немцевича, об этом своем намерении Костюшко заговорил в первую же минуту их встречи после освобождения. «„Хотел бы выехать через неделю,— заявил он,— но не могу один отправиться в такую дальнюю дорогу; мне необходимо опытный друг, который бы мне помогал. Неужели ты меня в таком состоянии оставишь?!“. Тут он заплакал,— вспоминает Немцевич,— и тем прекратил мои колебания. Я ответил: „Нет, я тебя не оставляю“. Костюшко обнял меня, и в день освобождения от тюремных цепей я сам заковал себя в более приятные цепи дружбы» [6].

Подготовка к отъезду затянулась на три недели. Костюшко нанес визит царской семье. У входа в Зимний дворец его встретили рослые кавалергарды с креслом царицы, в котором и транспортировали по дворцовым залам, где собрался петербургский бомонд. Павел I подарил бывшему «главному бунтовщику» великолепную карету, в которой можно было удобно расположиться в полулечащем положении, собольи шубу и шапку, много других вещей. Немцевич тоже получил в подарок меховую шубу и рукавицы. Выезд их из Петербурга состоялся 8 (19) декабря 1796 г.; ехать им было предписано через Швецию и Англию.

Указы Павла I об освобождении находившихся в Петербурге ближайших соратников Костюшко были оглашены 20—28 ноября (1—9 декабря) 1796 г. Всем были выданы средства на дорогу и обустройство. Размеры «выходных пособий» строго соответствовали социальному статусу амнистированных. Граф И. Потоцкий был облагодетельствован почти так же, как Т. Костюшко; далее шли выходцы из более или менее родовитых шляхетских семей (И. Закшевский, Т. Вавжецкий, Т. Мостовский и др.), а на последнем месте оказались в этом смысле представители «третьего сословия» — банкир А. Капостас и сапожный мастер Я. Килянский.

На арестантов, находившихся в Смоленске, по окончании следствия были составлены обвинительные заключения. Роль суда выполняла сенатская комиссия из четырех человек во главе с генерал-прокурором А. Н. Самойловым. Екатерина II существенно смягчила их приговор: наиболее виновных отправили в сибирскую ссылку или на поселение во внутренние российские губернии; остальные были приведены к присяге и отпущены по домам под надзор местных властей; недвижимость многих осужденных подлежала секвестру, снятие которого стало возможным лишь после амнистии Павла I, объявленной в декабре 1796 г. Некоторые детали, дополняющие данное резюме реферируемых источников, содержатся в моей научно-популярной заметке, где, к сожалению, допущены досадные ошибки в архивных ссылках [7].

Из сказанного видно, насколько ценен для исследователей «костюшковский» комплекс материалов в делопроизводстве Тайной экспедиции Сената. Не случайно перед второй мировой войной (вероятнее всего, в конце 20-х или в начале 30-х годов) в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ, позднее — ЦГАДА СССР) активно велась подготовка солидной публикации по этим материалам. Были изготовлены копии свыше ста документов — в том числе всех показаний Т. Костюшко и многих показаний его сподвижников; некий Ю. Аничков сделал переводы не переведенных в ходе следствия французских и немецких текстов. Установить других участников работы не удалось; судя по имеющимся данным, Ю. Аничков не был штатным сотрудником ГАФКЭ. Экземпляр машинописи, подготовленной с его участием, был обнаружен в бумагах известного московского историка-полониста В. Д. Королюка, который умер в декабре 1981 г.

Работу продолжает сейчас группа российских и польских специалистов,

а издание взяло на себя Главное управление государственными архивами Польши. Скопированные ранее тексты тщательно сверены с оригиналами; дополнительное выявление позволило примерно вдвое увеличить число отобранных для публикации документов, часть которых взята не из хранящегося в РГАДА делопроизводства Тайной экспедиции, а из других российских архивохранилищ. Подготовка первого солидного документального сборника, посвященного пребыванию в царской неволе Т. Костюшко и его сподвижников, продвигается успешно, и есть надежда на выход его из печати в год двухсотлетия восстания 1794 г. Весьма отрядным историографическим фактом представляется то, что столь необходимое документальное издание подготовлено совместно российскими и польскими специалистами, хотя долгое время они неохотно затрагивали данную тематику, даже работая отдельно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Масловский Д.* Сражение при Мацейовице и штурм Праги//Военный сборник. 1893. № 11. С. 9—17.
2. Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1866. Кн. 3. С. 38—60; Кн. 4. С. 185—230; 1867. Кн. 1. С. 60—130.
3. *Горяинов С. М.* Заточение Ф. Костюшко в крепости (1794—1795 гг.)//Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1912. Кн. 1. С. 1—28.
4. *Korzon T.* Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta. Kraków; Warszawa, 1906. Wyd. 2. S. 664.
5. Российский государственный архив древних актов. Ф. 6. Оп. 1. Д. 548. Ч. II. Л. 82.
6. *Nietcewicz J. U.* Pamiętniki czasów moich. Warszawa, 1957. Т. II. S. 172.
7. *Дьяков В.* Тадеуш Костюшко в русской столице//Родина. 1992. № 9/10. С. 153—155.



КРУЧКОВСКИЙ Т. Т.

ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Разделы Речи Посполитой в конце XVIII в. во многом изменили не только тогдашнюю политическую карту Европы, но и исторические судьбы народов Центральной и Восточной Европы. Федеративное по политическому устройству и многонациональное по составу населения государство разделили между собой три абсолютистских монархии — Австрия, Пруссия и Россия. Такое переломное событие в истории этой части Европы не могло остаться в стороне от пристального внимания историков.

В. И. Герье, первым из русских профессиональных историков рассмотревший причины падения Речи Посполитой с либеральных позиций, интерес русской историографии к данной проблеме объяснял кроме всего прочего и тем, что она является составной частью истории России [1. С. 111]. Н. И. Кареев считал, что это один из переломных периодов истории Польши, драматизм которого усиливается участием России в разделах [2].

Исследования русской исторической науки второй половины XIX в. по проблемам разделов Польши — одна из вершин русской дореволюционной полонистики. Интерес к этим работам со стороны польских специалистов весьма значителен; отмечая это, польский историограф М. Серейский писал, что иностранные историки, хотя и не всегда избавлены от стереотипов, но часто видят более остро то, чего не замечают польские [3. S. 106].

В. И. Герье одним из первых в русской историографии выдвинул своеобразный комплекс причин печального состояния Польши в XVIII в., которые и привели к ее разделам. По его мнению, это — отсутствие сильного правительства, высокомерие и спесь в одном сословии и раболопное смирение в другом; недоразвитость городов; всеобщее невежество и религиозная истерпимость [1. С. 351]. Герье особый акцент делал на общественно-государственном устройстве Речи Посполитой, видел главную причину ее упадка в слабости центральной исполнительной власти. Данное положение с небольшими вариациями стало господствующим в либеральной историографии второй половины XIX — начала XX в. Особенно заметно это в работах Н. И. Кареева, А. Л. Погодина, М. К. Любавского.

Польская историческая наука, признавая важной причиной внутренние неурядицы, в основном выдвигает на первый план внешние обстоятельства

Кручковский Тадеуш Тадеушевич — преподаватель Гродненского университета (Беларусь), аспирант Института славяноведения и балканистики РАН.

[3. S. 30]. В современной польской историографии традиции краковской школы, считавшей, что Речь Посполитая сама виновата в разделах, не получили распространения. Оппоненты краковской школы, по мнению одного из ее последователей — Ю. Геровского, слишком оптимистически смотрят на национальное возрождение Польши конца XVIII в. и преувеличивают вину соседних государств (речь идет о варшавской позитивистской школе) [4. S. 176]. Большинство польских историков, занимающихся вопросами разделов, считают, что ситуация в Польше не была уникальна, все государства имели периоды кризисов и анархии. Е. Лоек в одной из последних своих монографий отмечает, что Речь Посполитая, которая уже возродалась, пала исключительно в силу неблагоприятных внешнеполитических обстоятельств и собственной нерешительности в быстро меняющейся международной обстановке [5. S. 214]. В интерпретации русской историографии причины разделов Польши сводятся к двум главным: польскому национальному характеру и шляхетскому общественно-государственному устройству. Некоторые историки не только консервативного направления (М. О. Коялович, П. Д. Брянцев, Д. И. Иловайский и др.), но и С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, А. С. Трачевский, т. е. историки либеральной ориентации главную причину печального конца Речи Посполитой видели в первой из них, считая «порочное», по их мнению, шляхетское государственное устройство только ее следствием. Другая же часть историков-либералов (Н. И. Кареев, В. А. Бильбасов) определяющей причиной считали недостатки общественного устройства Речи Посполитой.

Ф. Смит, написавший историю Польши по личному распоряжению Николая I и пользовавшийся многими закрытыми документами, утверждал, что польский характер — причина всех неурядиц в польском государственном устройстве. Он, в частности, писал: «Ложное направление природных способностей, при избытке фантазии и недостатке рассудительности; вследствие этого неумение оставаться в должных пределах, с одной стороны, а с другой — возросшее вследствие благоприятных условий влияние дворянства, поработившего себе все и вся, обратившего стремление к свободе в анархию; наконец, вредное вмешательство иезуитов в дела воспитания и образования народа; иезуиты присовокупили новые семена раздора к тем, которые уже существовали; они разъединили нацию, возникшую из различных элементов, не успевших еще слиться, и эти элементы стали снова разобщаться — таковы были единственные, существенные причины падения Польши» [6. С. 48]. Отмечая, что характер польского народа наложил отпечаток на всю его историю, Ф. Смит поддерживал теорию о сарматском происхождении польской шляхты. Отсюда, считал он, и ее склонность к буйствам, неумеренной фантазии. Не только поляки, но и другие славянские народы, по мнению Ф. Смита, неспособны к самостоятельному политическому существованию [6. С. 17]. Исключение он делал только для России, народ которой сформировался под влиянием норманских элементов в особый тип, склонный к строгой самодержавной форме управления.

Это славянофильское положение крайнего толка имело поддержку и у других более поздних представителей консервативной историографии (М. О. Коялович, П. Д. Брянцев и др.). М. О. Коялович обосновывал отсутствие способности у поляков к государственному строительству тем, что они не использовали данных историей шансов: создания крупного славянского государства в XVI в., разрешения вопроса свободы совести, а также возможностей, открывавшихся после принятия майской Конституции 1791 г. Несостоятельность последней Коялович связывал со слабостью государственной власти, предоставлением широких прав евреям, подрывавшим среднее сословие, нерешенностью крестьянского вопроса [7].

С. М. Соловьев писал, что польское социальное тело выглядело чудовищем, состоявшим из голов и желудков, но не имеющем ни рук, ни ног

[8. С. 97]. Оценки польского национального характера, государственного устройства даны С. М. Соловьевым с явно полонофобских позиций. Возможно, такой подход объясняется временем написания «Истории падения Польши» (1863). В многотомной «Истории России» оценки причин падения Польши более сдержанные, изложение польской истории более академичное. В польском национальном характере видел одну из главных причин разделов М. К. Любавский. Отмечая сопротивление России польским реформам, он писал, что поляки, вероятно, дождались бы времени, когда Россия изменила свое отношение к реформам. Но темперамент нации был не из таких, при которых долготерпение и холодная расчетливость составляют основное свойство людей [9].

Много внимания национальному характеру поляков и русских посвятил Ф. М. Уманец, считая, что это — две струи славянского мира, взаимно дополняющие друг друга [10. С. 211]. Отмечая недостатки и положительные стороны каждого из народов, он отказывался рассматривать национальный характер как причину падения Польши.

Большинство русских либеральных историков видели причину падения Речи Посполитой в шляхетском общественно-государственном устройстве. При этом все они, за исключением Ф. М. Уманца, М. К. Любавского, отчасти П. Н. Жуковича, не увидели существенной разницы между шляхетской демократией XVI в. и периодом анархии. Н. И. Кареев был противником славянофильской теории испорченности польского национального характера как главного виновника царящей в Польше анархии, теории, оправдывавшей разделы Польши и попытки русификации поляков. Н. И. Кареев считал, что нежизнеспособное польское государственное устройство сложилось как результат своеобразного исторического развития страны: отсутствия европейской формы феодализма, чрезмерной роли шляхты и т. д., но первоначально оно, согласно Карееву, имело шансы на существование при условии проведения соответствующих реформ. Главную болезнь он видел в бессилии законодательной власти в полном расстройстве власти исполнительной [2. С. 378]. По мнению М. К. Любавского, причиной нежизнеспособности общественно-государственного устройства Речи Посполитой была Люблинская уния, она втокнула Польшу и Литву в юридическую форму шляхетской демократии при несоответствии экономических факторов. Уния расстроила нормальное течение государственной жизни посредством усиления можновладства и либерум вето. Государственная жизнь Польши приняла нездоровое направление, губельно отразившееся на ее дальнейшей судьбе [11. С. 849]. М. К. Любавский писал, что в Речи Посполитой не было ни развитых форм управления, ни постоянного войска, ни финансов в надлежащем виде, поэтому «неудивительно, что в борьбе за существование Польша в конце концов потерпела поражение» [12. С. 20]. В. А. Бильбасов, В. А. Мякотин считали, что действовать исправно такая представительная система могла только при условии добродетельности граждан, т. е. шляхты. Шляхта же в конце XVIII в. находилась на стадии полного морального разложения. М. К. Любавский отмечал по этому поводу, что существовавшая организация управления давала польскому государству мало шансов для успешной борьбы за свое существование. Оно всецело было предоставлено добродетельности своих граждан, а если бы таковой не оказалось в должной мере, государство неминуемо должно было погибнуть, как и случилось в действительности [13].

Вопрос о соотношении морально-нравственных достоинств граждан в представительном государстве и его структурных форм ставился относительно Речи Посполитой XVI—XVIII вв. и в современной польской историографии (Я. Мацшевский, Е. Лоек, В. Чаплинский и др.). Может ли удержаться в обществе демократия только благодаря морально-нравственным качествам и политической культуре ее граждан, или для преодоления кризиса демок-

ратии нужен совершенный государственный механизм, либо сочетание двух этих факторов? Эта проблема до сих пор не разрешена наукой и общественно-политической практикой современного мира.

Либеральная историография отмечала, что политическое устройство Речи Посполитой довело народ страны до состояния полного безразличия и апатии в отношении дел государства, что сказалось в те моменты истории Польши, когда активность масс была особенно нужна: в период преобразований, иностранного вмешательства. Это выявилось во время восстания Т. Костюшко. В этом Н. И. Кареев видел причину неудач конфедератов: то была борьба не народа, а части его, которая считалась в Польше за нацию, горожане остались равнодушны, и еще меньшую охоту взяться за оружие имели крестьяне [2. С. 142]. С. М. Соловьев считал, что восстание вовсе не было народным, что трудно было подняться на борьбу за веру, не видя, кто и как притесняет ее; трудно было подняться на борьбу за свободу, которой пользовалась одна шляхта [8. С. 43]. При этом Соловьев считал, что вся эта борьба со стороны поляков велась единственно с целью разбоя и личного обогащения. Поэтому под знамена конфедерации тянуло всякую голь, дворовую службу, горожан и крестьян [8. С. 47].

Следует обратить внимание на стиль изложения не только консервативной, но и части либеральной историографии. Отряды конфедератов иначе как шайками Соловьев не называл, противники же капитуляции короля в войне 1792 г. получили у него прозвище «всякого сброда». В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров также считали конфедератов не больше чем шайками. У Ф. Смита, Д. И. Иловайского и П. Д. Брянцева противники разделов Речи Посполитой получили не менее «лестную» оценку.

С польским национальным характером связывалось, по мнению ряда русских историков, решение еврейского вопроса. Наиболее яркими приверженцами такого подхода были Д. И. Иловайский, М. О. Коялович, П. Д. Брянцев. По мнению Иловайского, отсутствие у поляков инстинкта самосохранения наиболее ярко проявилось именно в этом вопросе. У цивилизованных народов, писал он, кроме храбрости, энергии, которых нельзя отрицать у поляков, есть способность более высокого порядка — способность к организации и инстинкт самосохранения [14. С. XII]. Именно по этой причине, считал Иловайский, евреев изгоняли из всех европейских стран. Поляки, отмечал историк, до сих пор не поняли, какую роль сыграли евреи в разложении их государства, заключающуюся в подрыве торговли, городов и тем самым среднего сословия, углубляя пропасть между высшими и низшими классами [14. С. XIV]. И. Л. Горемыкин считал, что виноваты в этом положении сами же поляки, так как шляхта, подорвав городское сословие, очистила поле деятельности для евреев и передала в их руки промышленность страны [15]. Кроме того, утверждал Иловайский, евреи сыграли отрицательную роль в истории России, заключающуюся в жестокой эксплуатации западнорусского народа [16. С. 541]. Об этом же писал и Н. И. Костомаров: «...Русские люди терпели повсюду и от неудержимого произвола поляков и евреев» [17. С. 689]. С. М. Соловьев, сравнивая положение православных и евреев в Речи Посполитой, писал о притеснениях православной веры, тогда как евреям не чинилось никаких религиозных препятствий [18. С. 33]. М. О. Коялович, отмечая, что «евреи в своей массе люди крайне тяжелые, вредные для народа», предлагал ради чело- веколюбия очистить от них Западную Россию, что касается восточных славян, то они способны ассимилировать все инородные элементы [18. С. 54]. Из сказанного видно, что определенная часть представителей русской историографии стояла на позициях полонофобии и антисемитизма.

¹ Термином «западнорусские» первоисточники и историография XIX в. обозначали население и земли Украины и Белоруссии, входившие в состав Речи Посполитой.

Одну из причин падения Речи Посполитой русская историография видела в «распространении» Польши на восток, что привело к неизбежному столкновению с Москвой. Нюансы в позициях русских историков в данном случае столь незначительны, что их часто невозможно разделить по направлениям. Консервативная историография в основном придерживалась тезиса о борьбе двух стихий, двух цивилизаций, двух религий — католической и православной. Либералы же кроме этого отмечали зависимость исхода борьбы от ряда политических и социальных причин.

Перемещение границ на восток, отмечал Н. И. Кареев, привело к потере земель и населения, которые могли легче слиться с ядром государства, необоснованному смещению центра тяжести государства. Полонизации сопротивлялись русские элементы, а там, где она имела некоторый успех (Подолья, Волинь), усилилась социальная рознь. И спор, возникший сначала как спор двух центров объединения русских земель — Москвы и Литвы, вскоре превратился, по мнению Кареева, в спор русских и польских идей [19. С. 192]. В таких условиях отделение русских земель было вопросом времени независимо от того, устояла бы или нет этнографическая Польша [19. С. 196]. Говоря о предопределенности гибели Польши в связи с восточным креном ее политики, Кареев выражал общепринятую как в консервативной (Ф. Смит, Д. И. Иловайский, М. О. Коялович и др.), так и в либеральной (С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров и др.) историографиях точку зрения.

Историография славянофильского направления (Ю. М. Самарин, И. С. Аксаков, П. Д. Брянцев, М. О. Коялович и др.) и часть либеральной (С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров) видели эту предопределенность в том, что Польша изменила своей мессианской роли. Ю. М. Самарин считал, что Польша погибла, ибо отказалась от славянства, став в его мире клином запада [20]. С. М. Соловьев утверждал, что история поставила Польше и России роковой вопрос, при решении которого одна из стран должна была окончить свое политическое бытие [18. С. 1]. Разумеется, по мнению русской историографии, обреченной стороной могла быть только Речь Посполитая. Н. И. Кареев, говоря о предопределенности гибели Польши, считал, что избежать этой участи Польша могла только в одном случае: если бы она в союзе с Чехией в XV в. начала борьбу за возвращение границ на западе [19. С. 197]. На восточном направлении даже в союзе с Россией Польша не могла сохраниться в границах 1772 г., ей необходимо было в любом случае вернуться к более скромным размерам.

Лишь Ф. М. Уманец считал, что в польско-русском соперничестве в период могущества Речи Посполитой поляки имели большой шанс объединить славянские земли в единой державе, но они его не использовали, а укрепившаяся Россия воспользовалась этим [10. С. 61]. Такое мнение представляет собой исключение в русской исторической науке, которая признавала право на объединение славянских народов только за Россией. Даже А. Л. Погодин, сугубо либерально настроенный историк, говоря о Речи Посполитой XVI в., отрицал, что она могла использовать свой шанс объединить славянский мир. Он писал, что в русском народе так много сил, такое стремление к правильной государственной жизни под скипетром православного царя, что об его исприязнь к завоевателям разбилось бы упорство Батория. Польская власть, руководимая прихотливой, корыстной и ленивой шляхтой, никогда, по его мнению, не отличалась тем упорством и выдержкой, которые подчиняют побежденных победителям. Россия справилась с татарским игом, со Смутным временем, со шведами и Наполеоном, справилась бы она, конечно, и с поляками [21. С. 25].

Как видим, польская проблематика для русской историографии была столь специфичной и во многом политизированной, что в ней размываются четкие границы между либералами и консерваторами. Это еще раз дока-

зывает, что имперское мышление было присуще даже прогрессивно настроенным ученым.

Общепринятым положением в русской историографии, как консервативной, так и либеральной, является положение о католической реакции в Польше, как одной из главных причин разделов. Подчеркивается, что именно борьба православного русского населения, выступавшего под религиозным знаменем, ускорила присоединение восточнославянских земель к России. По мнению Ф. Еленева, нигде католический фанатизм не действовал с такой силой и не приносил таких плодов как в Польше. И польское духовенство, по его мнению, основной виновник разделов Речи Посполитой. «Владея совестью народа и управляя его образованием, оно более других сословий повинно в злополучной судьбе своего отечества» [22. С. 55].

Часть представителей русской либеральной историографии (В. А. Мякотин, В. А. Бильбасов, Н. И. Кареев) сумели увидеть в столкновении Польши и Москвы не просто борьбу двух враждебных цивилизаций, а борьбу двух соседних государств за свои корыстные интересы, где религиозная нетерпимость и вражда присутствовали с обеих сторон. В. А. Бильбасов и А. Н. Пыпин отмечали религиозную нетерпимость Москвы, выразившуюся в православном русском мессианстве. Это положение нашло отражение и в работах историка следующего поколения М. К. Любавского, который отмечал, что Россию и Польшу разделяла вера, культура и строй, что Речь Посполитая отличалась воинственным католицизмом, а Россия — такой же религиозной нетерпимостью к латинству [12. С. 20].

Одну из причин, ускоривших разделы Речи Посполитой, русская историография видела в незатаившем польско-немецком антагонизме.

Вступив на путь восточной экспансии, Польша потеряла на западе славянские территории и не сумела, отмечал Н. И. Кареев, предотвратить создание на этих землях сильного немецкого государства — Пруссии. В силу этих обстоятельств отношения Польши и Пруссии сложились так, что их борьба могла завершиться либо победой Пруссии (а это была смерть для Польши), либо ее поражением, что было почти равнозначно гибели Пруссии как государства [2. С. 383]. Кареев подчеркивал, что польско-немецкий антагонизм имел глубокие корни: во-первых, Пруссия унаследовала от Срдена борьбу с Польшей (это вытекало из паразитизма существования его на польских землях); во-вторых, Пруссия стремилась к соединению своих владений, разделенных польской территорией; в-третьих, протестантскую Пруссию и католическую Речь Посполитую разделяла религиозная рознь. Осуществить задачу соединения своих владений Пруссия могла только через разделы Польши, поскольку подчинить своему влиянию всю страну, она, в отличие от России, была не в силах. Фридрих II понял, что начавшиеся польские реформы могут закончиться усилением Речи Посполитой, что не было в интересах Пруссии. Поэтому он, пользуясь тем, что реформирующаяся Польша стремилась избавиться от русской опеки, используя сложное положение России, навязал последней разделы Польши [2. С. 112].

Исходя из этого положения, некоторые русские историки (С. М. Соловьев, А. С. Трачевский, М. О. Коялович и др.) считали одной из самых трагических ошибок польской патриотической партии попытку в проведении реформ опереться на Пруссию. Исключением в русской историографии является оценка Н. И. Костомаровым роли России в отношении реформ четырехлетнего сейма и во втором разделе Речи Посполитой как негативной. Н. И. Костомаров отмечал, что Россия, в отличие от Австрии и Пруссии, не признав Конституцию 3 мая, решилась на вооруженное вмешательство [17. С. 28]. Именно Екатерина II внушила Пруссии, что нельзя согласиться с новыми порядками в Польше [17. С. 29].

В нынешней польской исторической науке сторонником такой точки

зрения является Ю. Геровский [4. С. 83]. Среди польских историков имеется также мнение о существовании в то время реальной возможности опоры на Пруссию, а через нее на тройственную коалицию, направленную против усиления России, и таким образом доведения реформ до конца.

Одной из причин падения Речи Посполитой С. М. Соловьев считал «преобразовательные движения, начавшиеся в Европе в XVIII в.» [18. С. 6]. Ему принадлежит заслуга постановки данной проблемы. Более углубленная ее разработка в русской историографии была сделана Н. И. Карссым, посвятившим специальное исследование проблематике польских реформ второй половины XVIII в. [23].

В русской исторической науке по поводу польских реформ существовало две точки зрения: реформы только ускорили гибель польского государства (С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Ф. Смит, А. С. Трачевский и др.); реформы, хотя и не спасли государство от разделов, но способствовали значительным изменениям в общественно-государственной жизни, пробуждению польского народа (Н. И. Карсеев, А. Н. Пыпин, А. Л. Погодин и др.). Но все историки сходились на том, что реформы начались слишком поздно, и уже не осталось времени на их проведение.

Несостоятельность реформ консервативная историография связывала с польским национальным характером и существованием «неправильного» государственного устройства. Вслед за С. М. Соловьевым, Д. И. Иловайский и П. Д. Брянцев утверждали, что реформы только ускорили падение Польши, «агонию безнадежно больного», по выражению П. А. Гейсмана [24. С. XII].

Н. И. Карсеев отмечал, что в результате реформ 70—90-х годов XVIII в. произошел сдвиг в культуре, народном образовании, развитии искусств, стали более многочисленными случаи, когда магнаты и шляхта начали действовать на поприще промышленности [23. С. 55]. А. Л. Погодин по этому поводу писал: «Польская шляхта создала новый строй, который мог поднять упавшую республику» [21. С. 132]. Как бы подводя итог дискуссии на данную тему, Н. И. Карсеев отмечал, что было бы ошибкой ставить вопрос: могли ли реформы спасти Польшу? «Новые порядки,— писал он,— никогда сразу не создаются, быстро не упрочиваются» [23. С. 183]. Реформы, по мнению Карсеева, относительно падения польского государства были случайностью, так как само падение было результатом других причин [23. С. 79].

Одной из причин, ускорившей разделы Речи Посполитой, по мнению некоторых русских историков, была революционная опасность, боязнь вовлечения Польши в революционный процесс. Изменение карты Европы, исчезновение целого королевства, по мнению Н. К. Шильдера, свершилось сравнительно легко благодаря другому событию всемирно-исторической важности, взволновавшему в его основах весь Запад,— Французской революции [25]. Соседи поспешили разделом, считал Н. И. Карсеев, избавить себя от опасности революции у своих границ и от возможности ее появления у себя дома. Историки ссылаются на письмо канцлера Безбородко русскому посланнику в Польше Репнину: «Образ мышления поляков сделался такого рода, что зараза легко и дальше может распространиться, может повлиять на вольность крестьян, удобна раздражать наших поселян» [2. С. 181]. Ф. Смит отмечал, что только Мацейовице и Прага спасли Германию от угрозы революции [26].

Польские события, считал В. И. Герье, заняли внимание Австрии и Пруссии и дали возможность устоять Франции [27]. В. О. Ключевский отмечал и другую сторону этих событий: Екатерина II пыталась использовать революцию во Франции, чтобы отвлечь внимание от Польши и своей политики там. Но австрийцы и пруссаки хорошо разглядели шитую белыми нитками хитрость, вяло двинулись на Францию, без огорчения несли потери

на Рейне в чаянии добычи на Висле и отлично доделили Польшу при содействии и участии России [28. С. 58].

Участие России в разделах Речи Посполитой единодушно рассматривалось русской историографией еще со времен Н. М. Карамзина как политика собирания русских земель. Разногласия начинались при анализе конкретных мотивов правительства Екатерины II. С. М. Соловьев, а вслед за ним Н. К. Шильдер, П. А. Гейсман считали, что Екатерина II в разделах Польши сознательно отстаивала национальные интересы русского народа. Екатерине, писал Соловьев, было тяжело, что не все русские земли вошли в состав империи, но она рассчитывала обменять их у Австрии на турецкие области. Тем не менее Соловьев приводил ее письмо польским конфедератам, которое противоречит его выводам. Екатерина II писала, что берет Украину взамен своих убытков и потери людей [8. С. 299]. П. А. Гейсман считал, что честь ведения национальной политики принадлежала Екатерине II, немке, заботившейся о русских национальных интересах, в то время как они были забыты русским высшим слоем [24. С. 22]. Он утверждал, что Екатерина II исправила ошибки России XVII—XVIII вв., когда Россия делала ставку на сохранение Речи Посполитой с ее безобразным государственным устройством. Подобную точку зрения высказывал и Н. Я. Данилевский, отмечавший, что тогда, в XVII в., не бродили еще гуманные идеи в русских головах и край был бы закреплен для православия и русского народа [29. С. 29]. С. С. Татищев, как и Н. К. Шильдер, также считали действия Екатерины II отвечающими интересам русского народа, указывая, что только при Александре I политика, будучи основанной на отвлеченных идеях права и справедливости, стала антирусской [30; 31].

Однако большинство русских историков подвергло критике как справа, так и слева политику Екатерины II. По мнению М. О. Кояловича, Екатерина не сразу поняла значение присоединения для русского народа Западной России. Сами разделы Коялович осуждал, отмечая, что историческая работа, заключающаяся в распаде польского государства на польские и русские земли, смешана была с немецкой политикой по уничтожению самостоятельности Польши [32]. Он высказывал славянофильское обвинение правительству в забвении национальных интересов: «Все наше высшее общество пропитано было ненародным духом и не могло действовать в духе Алексея Михайловича» [18. С. 142].

Русская либеральная историография, поддерживая тезис о собирании русских земель, отмечала, как правило, то обстоятельство, что правительство Екатерины II руководствовалось в первую очередь политическими интересами, а не национальными. Н. И. Кареев считал, что шла борьба между двумя государствами, и в этой борьбе религиозный вопрос выступал как предлог, национальный — игнорировался, а социальный — не поднимался, ибо все заслоняли политические интересы [2. С. 279]. Историк довольно убедительно это доказывал, подчеркивая классовые интересы царизма, отношение помощников императрицы к русскому населению в Речи Посполитой, которое могло возникнуть только на почве шляхетского отчуждения от «быдла» [2. С. 281]. Подобную точку зрения высказывал и М. К. Любавский [9. С. 335]. В. А. Мякотин считал, что политика Екатерины II в Речи Посполитой, будучи не в состоянии опереться на народные интересы, опиралась на общий принцип веротерпимости. Этот принцип не только ничего не давал русским в Польше, где шляхта в большинстве была католической, но и в самой Польше вызывал недовольство влиятельных политических сил. Этой ситуацией, отмечал историк, и воспользовалась Пруссия, но поляки основной виновницей считали Россию, так как она играла более решительную роль [33].

В вопросе о виновниках разделов русская историография занимала однотипную позицию с историками Австрии и Пруссии, обвиняя в разделах

Пруссию или самих же поляков и считая только свои аргументы заслуживающими внимания. Разделы Речи Посполитой большинство русских историков считали следствием дипломатического поражения России, в результате чего Пруссия и смогла навязать выгодное ей разделение Польши. Вместе с тем значительная часть русской историографии, и не только славянофильской направленности, поднимала вопрос о моральной ответственности за разделы, считая, что нельзя было отдавать как русских, так и польских земель немцам. В. О. Ключевский видел главную ошибку разделов в том, что погибло славянское государство, укрепив при этом с помощью России Пруссию [28. С. 55]. Ф. М. Уманец призывал рассматривать этот вопрос с точки зрения общеславянских интересов. По Уманцу, надо было брать или всю Польшу, или управлять ею через Репнина. И если первое сразу невозможно, то второе было вполне вероятно, а со временем создались бы условия для полного присоединения Польши, что дало бы перевес славянской политике в Европе [10. С. XIV].

В. О. Ключевский присоединялся к мнению А. Н. Пыпина, В. А. Бильбасова о необходимости для России оставить независимой этнографическую Польшу. В конце XIX — начале XX в. на эту точку зрения становится значительная часть русских историков (Н. И. Кареев, А. Л. Погодин, М. К. Любавский, М. О. Коялович и др.). Эта позиция в корне отличалась от славянофильских убеждений второй половины XIX в. о возможности России одной решить польский вопрос, о неопасности для нее усиления Пруссии. Так, еще до объединения Германии Н. Я. Данилевский писал: «...Пусть увеличится Пруссия до всевозможных пределов, — то есть соединит всю Германию (далее и Австрию), завладеет Голландией, — все еще будет ей далеко не под силу выходить против России один на один» [29. С. 115]. Русские историки в условиях конца XIX — начала XX в., во время нарастания германской угрозы, опасности доминанции Германии в Европе, вспомнили о теории буферного государства. Кроме того, как верно заметил В. О. Ключевский, «уничтожение польского государства не избавило Россию от борьбы с польским народом: не прошло и 70-ти лет после третьего раздела Польши, а мы уже трижды воевали с поляками (1812, 1831, 1863 гг.)» [28. С. 56]. Все это подтверждает, отмечал он, жизненные силы польского народа. Подобную же точку зрения высказывали Н. И. Кареев, А. Н. Пыпин, М. О. Коялович, А. Л. Погодин.

Таким образом, русская историография второй половины XIX — начала XX в. представила довольно широкую картину причин падения Речи Посполитой. В восприятии русских историков как либерального, так и консервативного направлений, падение Польши было неизбежным. Если сторонники славянофильского подхода видели эту предопределенность в измене делу славянства и православия, то большинство ученых либерального направления связывали ее со сдвигом границ Польши на восток, что не дало ей возможности выработать сильное государственное устройство и внутренне консолидироваться, и привело к столкновению с Россией, победить в котором могла только Москва.

60—80-е годы XIX в. отличались в русской историографии ярко выраженным консервативным подходом к проблематике разделов Польши, часто даже открытой полонофобской позицией. Это относится и к трудам историков либерального направления, вышедшим в этот период (С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, В. И. Герье, А. С. Трачевского). Усиление либеральной тенденции в данной проблематике начинается с 80-х годов XIX в. и связано в первую очередь с именем Н. И. Кареева. Как попытку беспристрастного подхода к истории падения Речи Посполитой можно рассматривать также исследование В. А. Бильбасова, А. Н. Пыпина, а несколько позже — А. Л. Погодина, М. К. Любавского. Усиление либеральной тенденции в это время объясняется в первую очередь получившей распространение позитивистской

методологией в русской историографии. Либеральная направленность была также связана с поисками путей русско-польского сближения в условиях усиления опасности германской доминации в Европе (для России) и усиливавшейся германизации для поляков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Герье В. И.* Борьба за польский престол в 1733 г. М., 1862.
2. *Кареев Н. И.* Падение Польши в исторической литературе. СПб., 1888.
3. *Serejski M.* Europa a rozbiory Polski. Warszawa, 1970.
4. *Gerowski J.* Historia Polski. Warszawa, 1982. Т. 2.
5. *Lojek J.* Ku sprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja. Warszawa, 1988.
6. *Смит Ф.* Ключ к разрешению польского вопроса или почему Польша не может существовать как самостоятельное государство. СПб., 1866. С. 150.
7. *Коялович М. О.* О разделах Польши по поводу сочинения г. Иловайского «Гродненский сейм 1793 г.» // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1871. Ч. CLIV, CLV.
8. *Соловьев С. М.* История падения Польши. М., 1863.
9. *Любавский М. К.* История западных славян (прибалтийцев, чехов и поляков). М., 1918. С. 337.
10. *Уманец Ф. М.* Вырождение Польши. М., 1872.
11. *Любавский М. К.* Литовско-русский сейм. М., 1900.
12. *Любавский М. К.* Исторические судьбы славянства. М., 1915.
13. *Любавский М. К.* Политический строй Польши после Люблинской унии. М., 1901. С. 32.
14. *Иловайский Д. И.* Гродненский сейм 1793 г. Последний сейм Речи Посполитой. М., 1870.
15. *Горемыкин И. Л.* Очерки истории крестьян в Польше. СПб., 1869. С. 80.
16. *Иловайский Д. И.* История России. М., 1890. Т. 3.
17. *Костомаров Н. И.* Последние годы Речи Посполитой // Вестник Европы. 1869. Т. 1—2.
18. *Коялович М. О.* Лекции по истории Западной России. СПб., 1864.
19. *Кареев Н. И.* Новейшая польская историография и переворот в ней // Вестник Европы. 1886. № 4.
20. *Самарин Ю. М.* Сочинения. М., 1877. Т. I. С. 333.
21. *Погодин А. Л.* Очерк истории Польши. М., 1908.
22. *Еленев Ф.* Польская цивилизация и ее влияние на Западную Русь. СПб., 1863.
23. *Кареев Н. И.* Польские реформы XVIII в. СПб., 1890.
24. *Гейсман П. А.* Начало конца Польши. СПб., 1898.
25. *Шильдер Н. К.* Император Павел I. СПб., 1904. С. 230.
26. *Смит Ф.* Сучоры и падение Польши. СПб., 1866—1867. Ч. 1—2. С. 18.
27. *Герье В. И.* История XVIII века. М., 1902. С. 471.
28. *Ключевский В. О.* Сочинения. М., 1989. Т. V.
29. *Даншевский Н. Я.* Россия и Европа. СПб., 1871.
30. *Шильдер Н. К.* Император Александр I, его жизнь и царствование. СПб., 1904. С. 116.
31. *Татищев С. С.* Из прошлого русской дипломатии. СПб., 1890. С. 14.
32. *Коялович М. О.* Люблинская уния или последнее соединение Литовского княжества с польским королевством на Люблинском сейме в 1569 г. СПб., 1863. С. 83.
33. *Мякотин В. А.* Лекции по русской истории. СПб., 1892. С. 458.



НОСОВ Б. В.

РАЗДЕЛЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (1970-е — начало 1990-х годов)

История отношений России и Польши зачастую была предметом не столько беспристрастного исследования, сколько острой общественно-политической борьбы, в том числе и публицистической полемики. Вероятно, в наибольшей степени это касается событий второй половины XVIII в., повлекших за собой разделы и ликвидацию шляхетской Речи Посполитой. Для польского народа разделы стали трагическим финалом упадка польской феодальной государственности, когда Польша более чем на столетие утратила независимость. Важную роль играл польский вопрос и в политике России, причем его влияние не ограничивалось лишь сферой международных отношений, но на протяжении XVIII и XIX вв. существенным образом проявилось и во внутренней политике царского правительства. Поэтому проблема разделов Речи Посполитой в XVIII в. является первостепенной в истории внешней политики России XVIII в. и в то же время выходит за рамки истории международных отношений в ее традиционном понимании.

Изучение истории российско-польских отношений в XVIII в. прошло несколько этапов, на особенности которых оказали влияние как социально-политические процессы, протекавшие в Европе в XIX—XX вв., так и развитие направлений общественной мысли, а также внутренние процессы развития самой исторической науки и расширение ее источниковой базы. По нашему мнению, можно выделить следующие этапы в изучении и историческом осмыслении российско-польских отношений второй половины XVIII в.: 1) от рубежа XVIII—XIX вв. до начала 60-х годов XIX в.; 2) от начала 60-х годов XIX в. до конца первой мировой войны; 3) межвоенный период; 4) 1945 г.— до конца 1960-х годов¹; 5) с конца 1960-х годов по настоящее время.

Этап, начавшийся на рубеже 1960—1970-х годов, характеризовался нарастанием кризисных тенденций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, принадлежавших к социалистическому лагерю. Развитие этих тенденций повлекло за собой крушение социализма в Европе и радикальное изменение всей системы международных отношений в Восточной и Цент-

Носов Борис Владимирович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Анализ историографии проблемы до конца 1960-х годов см. [1—11].

ральной Европе. Все это не могло не повлиять на рост интереса к истории международных отношений в регионе. Внимание к истории российско-польских отношений было связано также с 200-летием Станиславовской эпохи, Барской конфедерации, Великого сейма и разделов Речи Посполитой.

В 1970-е — начале 1990-х годов вышло в свет несколько крупных обобщающих трудов, в которых большое внимание уделено истории польско-российских отношений рассматриваемого периода, а также значительное количество монографий и статей. Достаточно упомянуть труды польских историков Е. Михальского [5; 12—14], Э. Ростворовского [15; 16], Т. Цегельского, Л. Конджели [17; 18], немецких исследователей К. Цернака [9; 10; 19; 20], К. О. фон Аретина [21], Е. К. Хёнша [22; 23], М. Г. Мюллера [24; 25], а также книги Г. Е. Эверсли, Д. Ранзела и Г. Ливе [26—28]. В рассматриваемый период была издана фундаментальная «История польской дипломатии» [29], обобщающие труды по истории Польши и истории польского сейма, а также первая в польской литературе монография, посвященная разделам Польши [18].

Одной из важнейших проблем, находящейся в центре внимания исследователей международных отношений XVIII в., является вопрос о влиянии русской политики в Польше, а также разделов Речи Посполитой на соотношение сил в Европе. Исходным тезисом современной историографии вопроса является положение о том, что международные отношения в Европе XVI—XVIII вв. определялись системой равновесия сил коалиций европейских держав и сравнительно короткими периодами преобладания монархии Габсбургов, Франции или России.

Для польской историографии проблема русско-польских отношений и в особенности разделов Речи Посполитой во взаимоотношениях европейских держав, естественно, приобретает центральное значение, которое в свою очередь обусловило и подход польских авторов к вопросу о европейском равновесии сил. Е. Топольский, анализируя немецкую историографию разделов, отмечал, что разделы Польши, в первую очередь в 90-е годы XVIII в., положили конец миру и спокойствию в Европе, что они не только определили последующую историю польского и немецкого народов, но и распространили свое влияние на Европу в целом. Аналогичной точки зрения придерживается и М. Х. Серейский [8. S. 513—515; 16].

В монографии Т. Цегельского и Л. Конджели проблема европейского равновесия получает более обстоятельное толкование и связывается с проблемой политики экспансии абсолютистских режимов, изменение соотношения сил между которыми выражалось в территориальных захватах. Подобная политика являлась, по мнению авторов, следствием относительно невысокого уровня развития хозяйства, когда мощь государства была непосредственно поставлена в зависимость от приобретения новых территорий, а следовательно, и роста населения, что в свою очередь стимулировало дальнейшую экспансию [18. S. 7—12]. Эта точка зрения на характер европейского равновесия XVIII в. впервые была сформулирована в немецкой историографии, в частности, в работах К. О. фон Аретина [21], написавшего предисловие к книге Т. Цегельского «Германия и первый раздел Польши» [17].

Как же повлияло развитие русско-польских отношений в XVIII в. и политика разделов Речи Посполитой на соотношение сил европейских держав? В трудах польских историков ответ на этот вопрос звучит вполне определенно. Польская политика российского самодержавия открыла путь к европейской гегемонии России. Разделы Польши коренным образом изменили соотношение сил в Европе и нарушили равновесие сил между европейскими державами, обеспечили стратегическое преобладание России в Германии и в Восточном вопросе [5; 8; 16; 17]. Эта точка зрения в целом разделяется англо-американской и французской историографией [26—

32], правда, с тем различием, что разделы Польши рассматриваются лишь как одно из направлений внешнеполитической экспансии России наряду с Восточным вопросом. Для германской историографии преобладающим остается вывод о том, что разделы по своему значению не выходят за рамки обычной для XVIII в. захватнической политики. По мнению М. Г. Мюллера, разделы и аннексии стали средством поддержания европейского равновесия в XVIII в. [24]. Однако в немецкой литературе мы встречаем утверждения и иного рода. Р. Поммерин, анализируя взаимоотношения Австрии и России времен Семилетней войны, отмечает, что общественность Австрии приветствовала Екатерину II как миротворца и содействовала «русскому влиянию» на положение в империи. Вместе с тем ведущие государственные мужи в Европе были обеспокоены русской опасностью. Россия при удобном случае могла нарушить европейское равновесие. Русско-турецкая война 1787—1791 гг., война против Швеции и прежде всего второй и третий разделы Польши привели к этому. Автор, в отличие от Мюллера, связывает «русскую опасность» не с восточной, а в первую очередь с европейской политикой [33; 34].

Проблема влияния разделов Польши на положение в Европе безусловно является одной из важнейших, так как естественно выводит исследование русско-польских отношений на уровень анализа европейской политики, рассматривает эти отношения в контексте европейских связей. Правомерен и достаточно широкий диапазон в оценке этого влияния от подчеркивания исключительно регионального аспекта до выделения общеввропейского. Разумеется, разделы Речи Посполитой имели исключительное значение для Польши, существенно повлияли на исторические судьбы Австрии, Пруссии и России, не могли они пройти бесследно для Европы в целом. Однако проблема соотношения сил в Европе в связи с разделами нередко рассматривается в литературе под влиянием тенденций развития европейской политики XIX в., а может быть, и XX в. При этом не раскрывается содержание самого понятия «равновесие», которое трактуется главным образом как равновесие политического влияния [35]. А против подобной постановки вопроса хотелось бы выдвинуть ряд возражений.

Во-первых, нам представляется, что анализ соотношения сил в Европе во второй половине XVIII в. необходимо дополнить выяснением связи социально-экономического развития стран континента, их социальной структуры и внутренней политики с процессами, протекавшими в сфере международных отношений. Разумеется, этот анализ должен сочетаться с исследованием династических, конфессиональных и государственно-политических связей и противоречий. С точки зрения развития экономики можно выделить такие передовые страны, как Англия, Голландия, Франция, а также прирейнские германские земли, развитие хозяйства которых определялось процессами становления капиталистической промышленности и началом (в Англии) промышленного переворота. Именно эти страны стали центром формирования европейского рынка. Их развитие характеризовалось становлением классов буржуазного общества, кризисом феодальных (сеньориальных) поземельных отношений, утверждением буржуазных форм собственности, в частности и в сфере аграрного производства. Стремление господствующих сословий в этих условиях укрепить свое положение приводит к резкому усилению государственного аппарата, переходу, начиная со второй половины XVII в., к регулярной организации войска, превращению королевских налогов в важнейшую форму отчуждения и распределения феодальной ренты, утверждению абсолютизма. Численный рост господствующего сословия дворянства, приобретение им государственной организации в форме абсолютной монархии превращает внешнюю военную экспансию в один из важнейших факторов стабилизации феодального строя в европейских странах. Однако на западе Европы территории для подобной экс-

пансии к началу XVIII в. были исчерпаны, что и обусловило ее превращение, с одной стороны, в борьбу за европейскую гегемонию, а, с другой — получило выражение в борьбе за колонии. Этот характер внутреннего развития оказал определяющее влияние на формирование внешней политики Англии, Голландии и в первую очередь Франции.

Страны Центральной Европы — Австрия, Речь Посполитая, Пруссия и германские государства к востоку от Эльбы — в экономическом отношении характеризуются как страны феодальные, но феодальные отношения в них имеют весьма специфическую общую черту, связанную с приспособленностью феодального хозяйства к потребностям европейской торговли. Разумеется, эта общая черта, в первую очередь привлекала внимание исследователей, отнюдь не исчерпывала сложных и противоречивых процессов развития феодального землевладения в Центральной Европе. Но устойчивость системы феодального землевладения в этих условиях естественно требовала включения в нее новых земель, т. е. осуществления феодальной экспансии. Вовлеченность этих стран в систему европейских военных коалиций XVII—XVIII вв., формирование в них абсолютистских режимов, стремление дворянства расширить сферу своего господства диктовало политику активных территориальных захватов, что в свою очередь должно было служить укреплению абсолютизма, феодального землевладения и крепостничества к востоку от Эльбы. В этих странах третье сословие еще не представляло угрозы господству дворянства, но вместе с тем воздействие товарно-денежных отношений и европейского рынка уже в значительной мере сказалось на феодальном землевладении. В этих условиях территориальная экспансия абсолютизма преследовала цель консервации традиционного феодального характера фольварочно-барщинной системы. Единственно возможным направлением такой экспансии было движение на восток, которое было свойственно внешней политике этих стран в XVIII в., как, впрочем, и в XVII ст.

Россия вступила во второй половине XVIII в. в период начала разложения феодальных отношений, однако здесь этот процесс приобрел иные формы, нежели в Пруссии, Польше или Австрии. Он протекал параллельно с дальнейшим укреплением феодального землевладения. Сфера проникновения товарно-денежных отношений в экономику в сопоставлении с масштабами территории, населения и народного хозяйства страны в целом была незначительна. Развитие феодальных отношений характеризовалось не только распространением помещичьего землевладения на новые территории, закрепощением новых категорий населения, численным ростом господствующего класса, сохранением крестьянской общины, но и явлениями качественного порядка: совершенствованием системы феодальной эксплуатации, сословной и государственной организации дворянства. Развитие и укрепление феодальных отношений внутри страны, внутренняя экспансия крепостничества должны были получить продолжение и во внешней политике, одним из направлений которой и стала политика российского абсолютизма в отношении Польши.

Таким образом, говоря о противоречиях, определивших международные отношения в Европе во второй половине XVIII в., можно выделить, во-первых, противоречия между странами, вступившими на путь капиталистического развития, и феодальными странами Центральной и Восточной Европы. Наиболее остро это противоречие нашло свое выражение в области внешней политики в отношении германских земель, в Средиземноморье и на Балканах, а также в войнах эпохи Великой Французской революции. Во-вторых, это противоречия между странами Центральной Европы и Россией. Суть этих противоречий состояла в столкновении феодальной экспансии Пруссии, Австрии, Саксонии на восток и России — на запад. Разумеется, выделение трех названных групп стран отнюдь не означает, что исключались

противоречия между ними. Более того, политическая ситуация в Европе была гораздо сложнее, но она никоим образом не дает оснований говорить о русской угрозе как исключительном факторе европейской политики во второй половине XVIII в.

При этом возникает вопрос о причинах, в силу которых именно шляхетская Речь Посполитая стала жертвой политики европейских абсолютистских режимов. Польская историография принципиально прогивопоставляет круг проблем, связанных с политическим упадком Польши в XVIII в. и политикой разделов [7; 36; 38. S. 48—63]. Однако в большинстве работ по истории разделов Речи Посполитой, вышедших за рубежами Польши, указывается на определенную связь между этими явлениями. Причем связь эта рассматривается как противоречие между политической системой абсолютизма и пережитками сословно-представительных (феодальных) учреждений предшествующих эпох. Развитие этого противоречия во многом определило социально-экономическое и политическое положение Польши в XVIII в., упадок шляхетской государственности. Так, например, Г. Роде считает, что главной причиной упадка шляхетской республики явилось ее политическое устройство, в котором местный земский интерес преобладал над общегосударственным, что существующая структура власти отвечала интересам магнатства. Имевшаяся возможность реформ на основе союза мелкой шляхты и буржуазии не была реализована, так как последняя была слаба экономически и неорганизована политически [39. S. 28].

Современные польские исследователи, авторы единственной в польской литературе монографии, посвященной трем разделам Речи Посполитой, Т. Цегельски и Л. Конджеля отмечают, что политический упадок государства не мог привести к разделу, глубина упадка стала опосредованной причиной гибели Польского государства. Непосредственной же причиной стал международный кризис. Обе причины проявились во взаимосвязи [18. S. 30—31].

Важным вопросом является проблема хронологических рамок формирования и действия той тенденции в политике России, которая и разрешилась разделами Польши. Ряд исследователей относят ее формирование ко времени последнего бескорольевья в Речи Посполитой 1763—1764 гг. [8; 40; 41]. Подобная точка зрения была до конца 1960-х годов общепринятой в польской историографии. Однако в новейшей польской литературе она подверглась определенному пересмотру. Т. Цегельски и Л. Конджеля специально поставили в своей книге вопрос о хронологических рамках политики разделов. Они выделили два этапа: предыстория (1700—1763) и сами разделы (1764—1795), которые авторы связывают с тремя общеевропейскими кризисами международных отношений — 1768—1774 гг., 1787—1792 гг., 1794—1795 гг. [18]. Предыстория разделов, по их мнению, берет свое начало со времени Северной войны 1700—1721 гг. и установления в Польше системы российских гарантий государственного строя Речи Посполитой. Впервые вопрос о связи русской политики в Польше в первой половине XVIII в. с разделами был поставлен еще В. Конопчиньским [42], однако широкое распространение этот тезис получил в историографии, начиная с 1970-х годов [16; 19; 24; 25]. По мнению М. Г. Мюллера, первые элементы этой политики были заложены Гжимултовским договором 1686 г. В полной мере русские гарантии шляхетской вольности сыграли свою роль в годы Северной войны, а далее к этим гарантиям присоединились и другие страны Центральной Европы. Что и привело к ситуации разделов, которая была окончательно оформлена союзом России и Пруссии 1764 г. [24. S. 20—24]. Политика протектората подготовила почву для разделов Польши, а роль скоро инициатором этой политики была Россия, то возможно и возложить на Россию ответственность за ликвидацию шляхетской республики.

Тезис о политике протектората нуждается, однако, в уточнении. Разумеется, экспансия России в отношении земель, входивших в состав Польши

и Литвы, была продиктована задачей распространения вширь феодального землевладения, интересами российского дворянства. Политика протектората открывала путь для решения этой задачи, но не вела непременно к разделу Польши. Поэтому, говоря о подготовленности разделов в первой половине XVIII в., не следует делать вывод об их неизбежности. Этой точки зрения придерживается в частности Е. Михальский, который отмечает, что переход от политики протектората к политике разделов связан с событиями 1764 г., изменившими ситуацию в Польше. Задачи, поставленные Екатериной II перед Н. Паниным, и деятельность Н. Репнина в Варшаве нарушили баланс интересов держав-протекторов в Польше. Следует заметить, что в число этих держав Е. Михальский включает и Францию [12. S. 7]. Это мнение находит немало подтверждений в литературе. Следствием стремления России подчинить Польшу своему контролю стала политика непосредственного использования магнатских группировок, в первую очередь Чарторьских («фамилии»), отказ от посредничества саксонской династии и ее сторонников в Польше.

В связи с этим возникает вопрос об отношении русского правительства к реформам, задуманным «фамилией». Эти реформы, или вернее попытки Чарторьских реализовать свои проекты, могли быть двояко использованы Россией. С одной стороны, реформы, призванные изменить политический строй в Речи Посполитой, создавали затруднения для государств-гарантов шляхетской вольности и должны были укрепить решающую роль России в польских делах. С другой стороны, надежды, возлагавшиеся на реформы «фамилии», становились одним из средств, помимо прямого подкупа, подчинения ведущей магнатской группировки русскому влиянию, превращения ее в орудие русской политики в Польше. Планы Чарторьских в связи с политикой России в период бескорольевья были рассмотрены Е. Михальским, который показал, как русское правительство, сначала одобрив планы реформ, потеряло к ним всякий интерес, сосредоточив внимание на подготовке военного вмешательства [43. S. 29—43]. Политическая зависимость Чарторьских и Станислава Августа от Петербургского двора стала одной из причин несостоятельности реформационных проектов «фамилии», по мнению Э. Ростворовского [44].

В историографии высказывается мнение, что заинтересованность русского правительства проектами Чарторьских была связана с попытками укрепления позиций Станислава Августа и надеждами на проведение некоторых преобразований, главным образом в военной и финансовой областях, в связи с возможным союзом России и Речи Посполитой для войны с Турцией [13. S. 504]. В подтверждение этой мысли, в частности, выдвигается тезис, впервые обоснованный Н. Д. Чечулиным, о том, что Н. Панин был сторонником умеренного курса в отношении Польши в отличие от жесткой линии Г. Орлова и З. Чернышева [13. S. 507; 45. С. 223—224]. Однако нельзя не учитывать, с одной стороны, определенную двусмысленность дипломатической переписки как исторического источника, с другой — стремление России не оттолкнуть раньше времени возможных сторонников. В то же время военное союзничество России и Польши было бы весьма проблематично, во-первых, потому, что Польша не располагала для этого необходимыми силами, а результаты задуманных военных реформ могли проявить себя только в весьма отдаленном будущем. Во-вторых, планы России ограничивались лишь использованием Каменца-Подольского как опорного пункта в борьбе против Турции, что вряд ли должно было бы подкрепляться военными преобразованиями в Польше. Хотя в России с реформами и связывались определенные планы, но следует признать, что сеймы 1766—1768 г. положили конец альянсу с Чарторьскими. Появление диссидентских конфедераций, и в особенности Барской конфедерации, открывает новый этап русской политики в Польше.

Истории Барской конфедерации посвящена фундаментальная монография В. Конопчиньского [46], вышедшая в конце 1930-х годов и оказавшая несомненное влияние на дальнейшее изучение данной проблемы. Конопчиньский считал, что конфедерация объединила все патриотические силы «как формально, так и духовно», что она единственная противостояла интригам Чарторьских и «патриотов», а также произволу России [46. Т. 1. S. III]. Современная историография отказалась от тезиса о единении в рамках конфедерации всех национальных сил. А. Геровский подчеркивал ее консервативно-шляхетский характер [38]. В монографии Е. Михальского, посвященной последним годам конфедерации, отмечается, что наряду с господствующей антироссийской тенденцией в позиции конфедератов проявилось и острое недовольство шляхты политикой магнатских группировок в 60-е годы XVIII в. И вместе с тем, как и магнаты, инициаторы конфедерации связывали свои надежды исключительно с вмешательством европейских держав (Франции, Австрии, Пруссии) и с разжиганием войны между Россией и Турцией, что еще раз косвенно свидетельствует о проблематичности русско-польского антитурецкого союза. Е. Михальский отмечает, что для барских конфедератов была характерна общая для господствующих сословий политическая недалекновидность, обусловленная слабым знанием соотношения политических сил в Европе и неинформированностью относительно истинных намерений европейских правительств. Следствием этого явились необоснованные надежды на успех конфедерации [12. S. 8]. Т. Цегельски и Л. Конджела отмечают, что Барская конфедерация лишь в начале движения имела религиозный, антидиссидентский характер. Она быстро переросла в крупное военно-политическое движение против России. Однако конфедераты были плохо организованы, что вынуждало их надеяться главным образом на помощь Франции и Австрии, которые стремились укрепить свои позиции после Семилетней войны, а также Турции [18. S. 102—103]. Оценка Барской конфедерации как проявления консервативной шляхетской оппозиции разделяется в целом не только польской, но и зарубежной историографией. Эта точка зрения нашла, в частности, отражение и в обобщающих трудах [47. S. 502], в которых отмечается, что конфедератам с помощью Франции удалось спровоцировать вторжение турок в Польшу, а тем самым и войну России с Турцией 1768—1774 гг.

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. занимали центральное место среди внешнеполитических акций России в рассматриваемый период и в нашу задачу, разумеется, не входит рассмотрение всего круга проблем, связанных с юго-западным направлением внешней политики России. Однако в литературе высказывается практически единая точка зрения, что русско-турецкая война 1768—1774 гг. окончательно определила условия первого раздела Речи Посполитой.

В связи с ее первым разделом важнейшими дискуссионными проблемами в историографии остаются вопросы о державе — инициаторе разделов, о последствиях первого раздела для Польши и о влиянии раздела на социально-экономическое положение и этнополитическую ситуацию в Центральной Европе.

Раздел Польши был предрешен еще в 1769—1770 гг., когда Австрия, Пруссия и Россия совместно выступили против барских конфедератов, а австрийские войска заняли польские Бескиды. Важнейшим юридическим прецедентом раздела стало присоединение к владениям Габсбургов Ципских земель, против которого возражали в Петербурге [47. S. 745]. В историографии эта акция связывается со стремлением Австрии получить компенсацию за потерянную Силезию [48—50]. Это означало крушение русско-прусской системы в Восточной Европе [24. S. 34], призванной противодействовать усилению Австрии. Эта ситуация, видимо, была признана удобной для прусской экспансии, планы которой были определены Фрид-

рихом II в 1768 г. и предполагали захват Польской Пруссии и епископства Ерmlandского [51].

По вопросу о позиции Фридриха II в период первого раздела Польши, а следовательно и его отношения к целям русско-прусского союза в историографии даются весьма противоречивые оценки. Польская историография в целом видит в Пруссии рубежа 60—70-х годов XVIII в. главного инициатора разделов Польши и ликвидации польской государственности, во многом эта точка зрения разделяется в англо-американской и французской литературе [8; 40; 52—54]. Т. Цегельски в своей обстоятельной и оригинальной работе, посвященной сравнительному анализу внутреннего и международного положения Германии и Речи Посполитой в XVIII в., делает вызывающий сомнение вывод о том, что политика Фридриха II, направленная на захват польских земель и усиление Пруссии, открыла дорогу российской гегемонии как в Польше, так и в Германии [17]. В немецкой историографии этот вопрос рассматривается иначе. Пропрусское имперское направление германской историографии разделов Речи Посполитой было достаточно подробно рассмотрено и подвергнуто обоснованной критике в работах польских историков [7; 8]. Ныне оно утратило свои позиции, хотя еще и сохраняет некоторое влияние. Так, В. Вольмар подчеркивает, что участие Австрии и Пруссии в разделах было продиктовано обоснованным стремлением не допустить полной аннексии Польши Россией, иначе бы и Австрия и Пруссия «попали бы в руки России» [34. S. 45]. Разумеется, как преувеличение агрессивных планов и возможностей Пруссии, так и представление о том, что ее действия были вызваны исключительно стремлением противодействовать продвижению России на запад, вызваны не результатами исторических исследований, а политико-идеологическими стереотипами, сложившимися под влиянием исторических событий XIX и XX вв.² Поэтому представление о позиции Пруссии накануне первого раздела Польши должно формироваться не столько под влиянием последующих событий, сколько на основе источников, в частности отражающих взгляды Фридриха II в период Семилетней войны и 60—70-х годов. Так, в статье Т. Шнидера, посвященной представлениям Фридриха II о европейском равновесии сил, на основе анализа его политических сочинений делается вывод о том, что Фридрих II стремился к усилению Пруссии за счет Польши и Австрии, однако его планы не выходили за рамки приобретения Польской Пруссии и соединения таким образом обеих частей королевства [46].

Говоря об инициативе первого раздела, можно сделать вывод о том, что его результаты, рационалистический принцип равновесия интересов, воплощенный в территориальных приобретениях, свидетельствовали о равной заинтересованности и равных возможностях держав-участниц [13; 24. S. 39; 45. S. 439—440; 57. S. 44], что, по нашему мнению, делает второстепенной проблему — с чьей стороны инициатива раздела была проявлена первоначально.

Каковы же были последствия первого раздела для Польши? В польской историографии высказывается мнение, что первый раздел не означал еще окончательной ликвидации Речи Посполитой, которая, однако, превратилась в «буферное государство» между Пруссией, Австрией и Россией. Более того, ситуация раздела в известной мере подтолкнула магнатов и шляхту на

² Этому вопросу посвящена работа польского историка Х. Лабренц. Анализируя польскую историографию XIX—XX вв. (до 1947 г.), автор отмечает, что в историографии господствовал тезис об исключительной роли Пруссии в развитии польско-германских противоречий, что в большинстве работ не делалось различия между Пруссией и Германией. Вместе с тем современные польские историки, по мнению автора, не поддерживая тезис о непрерывности антипольской политики от Фридриха II до Гитлера и не отождествляя Пруссию с Германией в целом, отмечают, что в царской России, как и в Пруссии, национальное сопротивление подавлялось столь же жестокими средствами [55. S. 167, 175—176].

путь реформ, проведение которых крайне затруднялось слабостью польского феодального государства. Инициаторами преобразований стали представители нового поколения аристократов: Адам Чарторьский, Игнаций и Станислав Потоцкие. Однако идеология Просвещения не помешала им объединиться с гетманами Браницким и Ржевусским в Короне и Огинским в Литве, а также искать поддержки Потемкина в Петербурге [13; 38. S. 98—103]. Обращает на себя внимание очевидная связь между борьбой в среде польской шляхты по вопросам государственного устройства и внутренней политики и ее ориентацией на возможную поддержку со стороны России, что ставит движение за реформы в Польше на особое место в сфере развития русско-польских отношений.

Однако политика разделов была продолжена сразу же вслед за договором 1772 г. Инициаторами ее выступили Пруссия и Австрия [24. S. 39—41; 50. S. 26; 58; 59], для которых дальнейший захват польских земель представлялся как возможный способ разрешения двусторонних противоречий. И только война за баварское наследство привела к переориентации как австрийской, так и прусской политики в Центральной Европе. В связи с этим тезис, выдвинутый польской историографией относительно частичной стабилизации международного положения Польши после первого раздела в 70—80-е годы XVIII в., нуждается в определенном уточнении. Политика разделов продолжалась, однако неучастие в ней России сделало невозможным для Австрии и Пруссии реализовать свои цели.

Говоря о первом разделе Речи Посполитой и роли в нем России, следует обратить особое внимание на проблему, имеющую богатую историографическую традицию в отечественной исторической литературе. Раздел не только изменил государственные границы стран Центральной Европы, не только повлиял на соотношение сил между крупнейшими державами. Он повлиял на этнополитическую ситуацию в регионе. Присоединение к России украинских и белорусских земель, входивших в состав Речи Посполитой, продолжило процесс воссоединения украинского и белорусского народов с Россией, создало новые условия для их социально-экономического, культурного и этнического развития.

Чем же объясняется в историографии выжидательная позиция России перед лицом очевидного стремления Австрии и Пруссии к продолжению политики разделов? Высказывается несколько точек зрения, которые не только противоречат, сколько дополняют друг друга. Наиболее распространенная сводится к положению о невозможности для России из-за войн с Турцией (1787—1792) и Швецией (1788—1790) поддерживать военными силами политику протектората в Польше [35. S. 747—749], что побудило русское правительство искать политические средства усиления своего влияния в Польше и вновь вызвало к жизни компромисс с Чарторьскими и Станиславом Августом. Результатом, или вернее первыми плодами, этого соглашения стало создание Постоянного совета, а также попытки реформ в области организации войска, податной и финансовой политики, народного просвещения.

Относительно короткий период между первым разделом Польши и началом работы Великого сейма не случайно привлек внимание исследователей. Не рассматривая всего круга проблем, связанных с реформами этого времени, укажем лишь на их влияние на международное положение Польши и русско-польские отношения. В 1970-е — начале 1990-х годов в польской историографии был преодолен негативный подход предшествующего времени по отношению к реформам, проводимым королем и его магнатским окружением при поддержке России. Современные исследователи указывают на положительные последствия проведенных преобразований. При этом происходит сближение позиций польской и зарубежной историографии [13. S. 574; 15; 20; 23; 44; 60; 62]. Давая оценку реформам 70—80-х годов XVIII в.,

Т. Цегельски и Л. Конджеля писали, что границы реформаторских начинаний Станислава Августа были определены Россией, которая соглашалась на реформы в области экономики и культуры, но препятствовала переменам в политической и военной областях. «Проконсул» Штакельберг в одних случаях помогал королю против магнатской оппозиции, а в других — использовал оппозицию против короля [18. S. 160].

Указанное противоречие в русской политике (переход от поддержки реформаторского курса к охране старопольских порядков в Речи Посполитой) было связано со стремлением русского правительства привлечь Польшу к возможно более тесному союзу с Россией. Значение такого союза особенно возросло в связи с изменением позиций России в системе европейских коалиций в 80-е годы XVIII в., с началом в 1787 г. русско-турецкой войны и открытием в Варшаве Четырехлетнего сейма (1788) [13; 18. S. 179—180]. Эту возможность сближения с Россией попытался использовать и Станислав Август. Вопрос о предполагаемом союзе с Россией в 80-е годы XVIII в. всегда был спорным в польской историографии [63—65]. Е. Лоек придерживается точки зрения о неприемлемости союза с Польшей для Екатерины II [66—69], что и определило в конечном счете ориентацию деятелей Великого сейма на союз с Пруссией. Напротив, Е. Михальский, Т. Цегельски и Л. Конджеля отмечали возможность такого союза, более того, заинтересованность в нем России. Однако, по их мнению, условия союза были продиктованы Петербургом и должны были быть беспрекословно восприняты в Варшаве [13; 18. S. 180—181]. То есть, альтернатива состояла в выборе путей проведения преобразований: либо в рамках ужесточенного режима протектората в союзе с Россией, либо вопреки России, в условиях угрозы российской интервенции.

В связи с заключением военных и торговых соглашений с Пруссией, формально ликвидировавших систему союзов, определявших политику протектората в отношении Речи Посполитой, и главное, в связи с реформами Четырехлетнего сейма и Конституцией 3 мая в историографии ставится вопрос о том, были ли дальнейшая политика разделов и ликвидация шляхетской государственности неизбежны, или же перед Польшей открывалась возможность, опираясь на политику реформ и используя противоречия между великими державами, сохранить независимость и двинуться вперед по пути политического обновления [24. S. 43].

В отличие от Е. Лоска, Е. Михальский допускал возможность подобной альтернативы, хотя, разумеется, не считал обоснованными надежды деятелей Четырехлетнего сейма на восстановление польского суверенитета [70]. В определенной мере эта точка зрения находит поддержку в историографии и связывается с попытками Пруссии использовать военные и политические затруднения России и Австрии в начальный период войны с Турцией 1787—1791 гг. [71—73]. Однако подобная политика даже с учетом антирусской позиции Англии и Нидерландов была слишком рискованной для Пруссии и грозила прямой конфронтацией с Россией. К тому же все возможные комбинации зависели исключительно от одного фактора: от хода и продолжительности русско-турецкой войны. Ясский мир 1791 г. существенно изменил расстановку сил в Европе и открыл возможность для активизации русской политики в Речи Посполитой [24. S. 47]. Отмечая, что первые планы в этом отношении были намечены в Петербурге еще в 1789 г., и подчеркивая, что их осуществление непосредственно связывалось с идеей уничтожения якобинства, М. Г. Мюллер в то же время констатирует, что на вопрос о том, был ли «раздел Польши целью вторжения, нельзя ответить однозначно». При этом он указывает на планы Потемкина по созданию православного королевства на территории Польши, которые не могли не принимать во внимание в Петербурге, и на проволочки с заключением нового союза с Пруссией [24. S. 48; 65. S. 35, 199; 74. P. 512—516].

Однако эти факты, хотя и свидетельствовали об определенных колебаниях по вопросу о целях вторжения в Польшу, не могут поставить под сомнение убежденность петербургского двора в необходимости самого вторжения, целью которого было восстановление русского влияния в Польше, уничтожение преобразований Великого сейма. При этом интервенция в Петербурге рассматривалась как прямое выступление России против Великой Французской революции [66. S. 211—223].

Однако присутствовал и еще один немаловажный мотив российской интервенции в Польше. На него косвенно указывает эпизод, связанный с поездкой в 1791 г. в Берлин Василия Капниста, который стремился убедить Э. Ф. Герцберга, что в случае войны России и Пруссии последняя может рассчитывать на поддержку со стороны малороссийского дворянства и населения Украины [66. S. 105—106]. Таким образом, вторжение в Польшу было продиктовано не только целями внешней политики, но и не в последнюю очередь внутривосточными соображениями.

Пожалуй, наибольшее влияние на современную зарубежную историографию второго раздела Польши оказала книга Р. Х. Лорда «Второй раздел Польши», вышедшая в Лондоне в 1915 г. [74]. По объему использованных документальных источников русского происхождения ей нет равной не только в зарубежной, но и в отечественной историографии. Не случайно поэтому характеристика целей польской политики России в 1788—1792 гг., данная Р. Лордом, по сей день сохранила доминирующие позиции в историографии, а его книга была переведена на польский язык и дважды издана в Польше, в 1973 и 1984 гг.

Удобный момент для вторжения представился в мае 1792 г., после подписания мира с Турцией и объявления Австрией в апреле 1792 г. войны революционной Франции. Под нажимом России Станислав Август отказался от польской короны, а магнаты в 1792 г. образовали Торговицкую конфедерацию и обратились за военной помощью к России. Однако возможность альтернативного развития событий, по мнению польских историков, еще сохранялась. Е. Геровский отмечает, что призывом ко всенародной борьбе можно было противодействовать России, в то время как Австрия, а позже и Пруссия были отвлечены борьбой с Францией. Однако после присоединения Станислава Августа к Торговице возобладала тенденция к капитуляции. Шляхетский лагерь не был способен на революционные действия [38. S. 122—123].

Сложившимся положением воспользовались Австрия и Пруссия. Летом и осенью 1792 г. была восстановлена коалиция трех держав, а в январе 1793 г. был подписан русско-пруссский договор о втором разделе Польши. В связи с этими событиями в литературе ставится вопрос о стремлении Австрии и Пруссии использовать свое участие в войне против революционной Франции для приобретения территориальных компенсаций за счет Польши [24. S. 50—51].

Таким образом, положение в Европе в начале 90-х годов XVIII в. обусловило тесную связь между событиями в Польше и революционной Францией. Отношения между двумя странами во время Четырехлетнего сейма и второго и третьего разделов Польши рассмотрены в книге Х. Когуя. Автор показал, насколько широки были в польском обществе надежды на помощь Франции в период второго и третьего разделов, и вместе с тем, то, что в Париже не пошли дальше обещаний склонить к войне против России и Австрии Турцию в интересах польского дела [75. S. 119—120].

Второй раздел Польши фактически предопределил окончательную ликвидацию шляхетского государства. Эта точка зрения является общепринятой в историографии [8; 18. S. 285—287; 38. S. 138—139].

Уже на Гродненском сейме 1793 г. третий раздел Польши был предreshен [24. S. 51—52]. Формальное восстановление режима протектората не оз-

начало для Польши даже временной стабилизации [74. P. 454—484]. Оставалось только ждать завершения раздела, границы которого должно было определить соотношение сил России, Австрии и Пруссии. В историографии высказываются два противоречивых мнения: Пруссия и Австрия вынуждены были пойти на раздел, противодействуя захватническим планам России [57; 76]. Россия не смогла сохранить зависимую Польшу перед лицом агрессии со стороны Габсбургов и Гогенцоллернов [77]. Справедливым представляется мнение исследователей, которые считают, что неудачи Австрии и Пруссии, а также опосредованно и России в борьбе с революционной Францией вызвали к жизни взаимное стремление к скорейшему разрешению польского вопроса, к укреплению, таким образом, общих позиций в борьбе на Западе. Восстание Костюшко только укрепило эту решимость [13. S. 624; 24. S. 52—53; 78]. Т. Цегельски и Л. Конджеля показали, что планы третьего раздела Польши имелись у Пруссии и России еще до восстания под руководством Т. Костюшко, что ответственность за ликвидацию польского государства разделяют Австрия, Пруссия и Россия, что третий раздел Польши был неразрывно связан с кризисом международных отношений 1794—1795 гг., когда абсолютистские режимы Европы, с одной стороны, искали за счет Польши способ разрешения взаимных противоречий для сплочения в борьбе с революционной Францией, а с другой — пытались ликвидировать очаг республиканизма и якобинства в Центральной Европе [18. S. 288—325].

Анализ зарубежной историографии 1970-х — начала 1990-х годов истории русско-польских отношений второй половины XVIII столетия и разделов Речи Посполитой свидетельствует о том, что, в отличие от отечественной историографии, проблемы эти широко освещались в исследованиях историков Польши, Германии, Австрии, США, Англии и Франции в контексте проблем развития международных отношений в Европе, внутренних и внешних факторов становления и развития абсолютизма.

Характерной особенностью историографии рассматриваемого периода стало постепенное сближение позиций национальных историографических школ. Это проявилось, с одной стороны, в развитии сравнительно-исторических и региональных исследований, когда в процессе работы формируются общие для ученых различных стран оценки и концепции, а с другой — в преодолении воззрений, продиктованных субъективными политическими интересами.

Дискуссионной проблемой зарубежной историографии стал вопрос о роли России в Европе и международных отношениях в целом в XVIII в., когда Россия прошла путь от окраинного государства к державе-гегемону и превратилась в крупнейшую континентальную империю в мире. Русско-польские отношения и выход России к Черному морю, по мнению исследователей, сыграли решающую роль в процессе возрастания международного значения Российской империи. При этом одна часть исследователей связывает рост российского влияния преимущественно с действиями России в Восточном вопросе, а другая — с российской политикой в Польше.

Однако содержание понятия «российская гегемония» нуждается в уточнении. Действительно, Россия к концу XVIII в. достигла наибольших военно-политических успехов в сравнении с другими странами, исключительное значение при этом имели разделы Речи Посполитой. Однако ни победа над Портой, ни гарантия имперской Конституции в Германии, ни декларация о вооруженном нейтралитете не свидетельствуют о возможности России навязать свою волю другим державам. Крупнейшие внешнеполитические акции России в XVIII в. и в первую очередь разделы Польши явились результатом компромисса между абсолютистскими державами, которые делили Европу в соответствии со своими силами и влиянием, но

этот процесс не был продиктован гегемонией какой-либо одной страны или коалиции стран.

Вторым важнейшим дискуссионным вопросом является вопрос о роли разделов Польши в европейской политике. В целом в зарубежной историографии высказывается мысль, что территориальные разделы и переделы были характерны для международных отношений XVIII в. Предпринимались попытки разделов шведских владений, владений Габсбургов, Баварии. В этом ряду разделы Польши были наиболее значительным, но не исключительным явлением. Напротив, польская историография подчеркивает исключительность разделов Польши, указывая, что это был единственный в своем роде случай ликвидации без войны, дипломатическим путем, одного из крупнейших европейских государств.

Вопрос о причинах разделов Польши представлен в историографии как комплекс внутренних факторов (упадок Речи Посполитой) и внешнеполитических условий. При этом польские историки подчеркивают, что международные отношения, международные кризисы обусловили разделы польского государства, в то время как слабость шляхетской республики явилась опосредованной причиной, повлиявшей на выбор объекта разделов со стороны Австрии, Пруссии и России.

Отсюда естественно вытекает вопрос об ответственности за политику разделов. Представляется, что, если исключить известного рода публицистику на тему разделов Польши, в современной историографии принцип историзма постепенно приходит на смену политической полемике. Разделы Польши были проявлением характерной для XVIII в. формы разрешения международных противоречий, которая соответствовала как политической практике, так и общественному сознанию. Поэтому принцип ответственности политических режимов и господствующих сословий не должен превращаться в вину народов.

Исходя из этого, в историографии делается вывод об общей ответственности держав, осуществивших разделы Речи Посполитой, среди которых решающая роль принадлежала России, а дипломатическая инициатива исходила от Пруссии.

Важной исследовательской проблемой современного этапа изучения российско-польских отношений является вопрос о целях российской политики в Польше, о возможном российско-польском союзе, проекты которого постоянно возникали, начиная с 1760-х годов, о том, в какой мере этот союз был приемлем для Польши. Исследование этого вопроса требует более глубокого изучения российских архивных материалов, сравнительного анализа внутренней и внешней политики России и Польши XVIII в. в первую очередь со стороны историков России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Grabski A. F.* Orientacje polskiej myśli historycznej. Warszawa, 1972.
2. *Grabski A. F.* The Warsaw School of History. // *Acta Poloniae Historica*, 1972. T. 26. P. 153—169.
3. *Labuda G.* Polen und polnisch-preussischen Beziehungen in historiografischen Werk Leopold von Ranke. // *Preussen und Berlin*. Lünzburg, 1981. S. 49—81.
4. *Langer D.* Die Beurteilung der Teilung Polens in der polnischen Geschichtswissenschaft. // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1974. Bd. 22. S. 580—592.
5. *Michalski J.* Historiografia polska wobec problematyki pierwszego rozbioru. // *Przegląd historyczny*. 1972. T. 63. S. 425—436.
6. *Serejski M. H.* L'école historique de Cracovie et l'historiographie européenne. // *Acta Poloniae Historica*. 1972. T. 26. P. 127—151.
7. *Topolski J.* Moralizatorstwo czy wyjaśnienie. O głównym motywie polskiej historiografii poświęconej rozbiorem. // *Przegląd historyczny*. 1973. T. 63. S. 615—623.
8. *Topolski J.* Poglądy na rozbiory polski. // *Stosunki polsko-niemieckie w historiografii*. Poznań, 1974. Cz. 1. 410—515.

9. *Zernack K.* Die Geschichte Preussens und das Problem der deutsch-polnischen Beziehungen.//Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1983. Bd. 31. S. 28—49.
10. *Zernack K.* Schwerpunkte und Entwicklungslinien der polnischen Geschichtswissenschaft nach 1945.//Historische Zeitschrift. 1972. № 5. S. 202—323.
11. *Kapeev H. И.* Падение Польши в исторической литературе. СПб., 1888.
12. *Michalski J.* Dyplomacja Polski w latach 1764—1795.//Historja dyplomacji polskiej. Warszawa, 1982. T. 2. S. 483—692.
13. *Michalski J.* Schyłek konfederacji barskiej. Wrocław, 1970.
14. *Michalski J.* Polen und Preussen in der Epoche der Teilungen.//Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701—1871. Berlin, 1981. S. 35—52.
15. *Rostworowski E.* Historia powszechna. Wiek XVIII. Warszawa, 1977.
16. *Rostworowski E.* Polska w układzie sił politycznych XVIII wieku.//Polska w epoce Oświecenia. Warszawa, 1971. S. 191—205.
17. *Cegielski T.* Das alte Reich und die erste Teilung Polens 1768—1774. Stuttgart; Warszawa, 1990.
18. *Cegielski T.* Kądziela L. Rozbiory Polski 1772—1793—1795. Warszawa, 1990.
19. *Zernack K.* Negative Polenpolitik als Grundlage deutsch-russischer Diplomatie in der Mächtpolitik des XVIII Jahrhunderts.//Russland und Deutschland. Stuttgart, 1974. S. 144—159.
20. *Zernack K.* Stanislaus August Poniatowski. Probleme einer politischen Biographie.//Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1967. Bd. 15. S. 371—392.
21. *Aretin K. O.* Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssystem der europäischen Grossmächte. Die polnischen Teilungen als europäisches Schicksal.//Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701—1871. Berlin, 1981. S. 53—68.
22. *Hoensch J. K.* Geschichte Polens. Stuttgart, 1990.
23. *Hoensch J. K.* Sozialverfassung und politische Reform. Polen in vorrevolutionären Zeitalter. Köln; Wien, 1973.
24. *Müller M. G.* Die Teilungen Polens: 1772, 1793, 1795. München, 1984.
25. *Müller M. G.* Polen zwischen Preussen und Russland. Souveränitätskrise und Reformpolitik. 1736—1752. Berlin, 1983.
26. *Eversley G. J.* The partitions of Poland. New York, 1973.
27. *Ransel D.* The politics of Catharinian Russia. The Panin Party. New Haven; London, 1975.
28. *Livet G.* L'équilibre européen de la fin du XV^e à la fin du XVIII^e siècle. Paris, 1976.
29. Historia dyplomacji polskiej.//Pod. red. G. Labudy. Warszawa, 1982. T. 1—3.
30. *Zaller R.* Europe in transition 1660—1815. Cambridge, 1984.
31. *Coway S.* Bentam versus Pitt: Jeremy Bentam and British foreign policy 1799.//History Journal 1987. № 4. P. 791—809.
32. The origins of war in early modern Europe. Edinburgh, 1987.
33. *Pommerin R.* Bündnispolitik und Mächtesystem. Österreich und der Aufstieg Russlands im 18. Jh.//Zeitschrift für historische Forschung Beiheft Expansion und Gleichgewicht. Berlin, 1986. S. 113—166.
34. *Wolmar W.* Friedrich der Grosse und die europäischen Mächte.//Nation Europa. 1986. № 7/8. S. 41—45.
35. Handbuch der europäischen Geschichte. Bd. 4. Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Stuttgart, 1968. S. 6—60.
36. *Leśnodorski B.* Les partages de la Pologne. Analyse des causes et essai d'une théorie.//Acta Poloniae Historica. 1963. № 8. P. 7—30.
37. *Leśnodorski B.* Le siècle des lumières. L'état des recherches dans le domaine de l'histoire politique, des institutions et des idées.//Acta Poloniae Historica. 1969. № 21.
38. *Gierowski J. A.* Historia Polski 1764—1864. Warszawa, 1979.
39. *Rhode G.* Die polnische Adelsrepublik um die Mitte des 18. Jahrhunderts.//Die erste polnische Teilung. Köln; Wien, 1974.
40. *Kaplan H. H.* The First Partition of Poland. New York; London, 1962.
41. *Serejski M. H.* Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne. Warszawa, 1970.
42. *Gierowski J. A.* Władysław Konopczyński jako badacz czasów saskich.//Studia Historyczne, 1979. T. 22. S. 71—74.
43. *Michalski J.* Plan Czartoryskich naprawy Rzeczy Pospolitej.//Kwartalnik historyczny. 1956. № 4/5.
44. *Rostworowski E.* Ostatni król Rzeczy Pospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja. Warszawa, 1966.
45. *Чечулин Н. Д.* Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II, СПб., 1896.
46. *Konopczyński W.* Konfederacja barska. Warszawa, 1936—1938. T. 1—2.
47. Handbuch der europäischen Geschichte. Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Stuttgart, 1968. Bd. 4.
48. *Rostworowski E.* Podbój Śląska przez Prusę a pierwszy rozbiór Polski.//Przegląd Historyczny. 1972. T. 63. S. 389—412.
49. *Cegielski T.* Rzecz niemiecka a pierwszy rozbiór Polski. Warszawa, 1979.

50. *Cegielski T.* Preussische «Deutschland» und Polenpolitik in dem Zeitraum 1740—1792.//Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. 1981. Bd. 30. S. 21—27.
51. Die politische Testamente Friedrichs des Grossen. Berlin. 1981.
52. *Salmonowicz St. Fryderyk II.* Wrocław, 1981.
53. *Biskup M.* Preussen und Polen. Grundlinien und Reflexionen.//Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1983. Bd. 31. S. 1—27.
54. *Wipperman W.* Der deutsche Drang nach Osten. Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwort. Darmstadt. 1981.
55. *Labrenz H.* Das Bild Preussen in der polnischen Geschichtsschreibung. Rheinfelden, 1986.
56. *Schieder Th.* Die Idee des Gleichgewichts bei Friedrich dem Grossen.//Deutsche Frage und europäisches Gleichgewicht. Köln; Wien, 1985. S. 1—14.
57. *Lemberg H.* Polen zwischen Russland, Preussen und Österreich in 18. Jh.//Die erste polnische Teilung. Köln; Wien, 1974. S. 44.
58. *Topolski J.* Pruskie uzurpacje graniczne w dobie pierwszego rozblora Polski (1772—1777).//Zeszyty naukowe uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu. Historia. 1968. T. 8.
59. *Michalski J.* Polska wobec wojny o sukcesie bawarska. Wrocław, 1964.
60. *Czaja A.* Niedzy tronem, bulawa a dworem petersburgskim: Z dzieów rady Nieustrajacej 1786—1789. Warszawa, 1988.
61. *Lorence-Kot B.* Child-rearing and Regorm: A Study of the nobility in 18th cent. Poland. London, 1985.
62. *Stone D.* Polish and National Reform 1775—1788. New York, 1976.
63. *Kalinka W.* Sejm Czteroletni. Kraków, 1880. S. 52—53.
64. *Kalinka W.* Ostatnie lata panowania Stanislaw Augusta. Kraków, 1891. T. 1. S. 302.
65. *Aszkenazy Sr.* Przymierze polsko-pruskie. Warszawa, 1918. S. 41—43.
66. *Lojek J.* Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczy Pospolitej 1787—1792. Lublin, 1986. S. 26—27.
67. *Lojek J.* The International Crisis of 1791. Poland between the Triple Alliance and Russia.//East Central Europe. 1975. № 2(1). P. 1—63.
68. *Lojek J.* Catharine II's Armen Intervention in Poland. Origins of the Political Decisions and the Russian Court in 1791 and 1792.//Canadian Slavic Studies. 1970. № 4. P. 570—593.
69. *Lojek J.* Przed Konstytucja 3 Maja. Z badañ nad międzynarodowym polozeniem Rzeczy Pospolitej w latach 1788—1791. Warszawa, 1977.
70. *Michalski J.* Polen und Preussen in der Epoche der Teilungen.//Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. 1981. Bd. 30. S. 35—52.
71. *Петров А.* Вторая турецкая война в царствование Екатерины II 1787—1791 гг. СПб., 1880.
72. *Madariaga I.* Russian in the Age of Catharine the Great. London, 1982. P. 397.
73. *Gerhard D.* England und der Aufstieg Russlands. München; Berlin, 1933. S. 191.
74. *Lord R. H.* The Second Partition of Poland. London, 1915.
75. *Kocój H.* Francja a upadek Polski. Kraków, 1976.
76. *Moritz E.* Preussen und der Kosciuszko-Aufstand. Berlin, 1968.
77. *Джуджула К. Е.* Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII века. Киев, 1972.
78. *Góralski Zb.* Austria a trzeci Rosbiór Polski. Warszawa, 1979.



ДЬЯКОВ В. А.

О НАУЧНОМ СОДЕРЖАНИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ИСТОРИОСОФИИ ЕВРАЗИЙСТВА

Общий уровень научных исследований, появление и трансформация отдельных доктрин, особенно в гуманитарных дисциплинах, во многом зависят не только от внутренних закономерностей развития науки, но и от тех социально-политических перемен, которые происходят в отдельных странах и во всем мире. Одним из подтверждений этому может служить история отечественного славяноведения, которое практически было ликвидировано в 20-е годы по идеологическим соображениям, а начало возродиться лишь накануне второй мировой войны прежде всего потому, что партийно-правительственные круги увидели возможность использовать данную отрасль знания для подкрепления советского патриотизма и пропагандистского обеспечения своих внешнеполитических акций. Другим не менее поучительным примером, подтверждающим тесные взаимосвязи между внутренними и внешними факторами, влияющими на развитие общественных наук, является судьба евразийства.

Исключительно идейно-политическими, а вовсе не научными причинами объясняется то, что до середины 80-х годов о евразийстве почти ничего нельзя было прочитать ни в научной или учебной литературе, ни в разного рода справочниках и энциклопедиях, изданных в СССР. Период перестройки ознаменовался крутым подъемом интереса к евразийству, отразившимся как в специальных исследованиях и публикациях источников, так и в далеких от настоящей науки книгах и периодических изданиях. Большое разнообразие жанров (от подлинно исследовательских работ и публикаций источников до скандальных по тону и зачастую безграмотных газетных памфлетов), как и высказываемые в печати весьма противоречивые и не всегда обоснованные оценки евразийства не оставляют сомнения в том, что истоки нынешнего бума, как и причины предшествующего замалчивания евразийской проблематики следует искать не только в науке, но и в политике. Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы отметить первые шаги, уже сделанные российскими учеными для изучения истории евразийских исследований, изложить суть историософской концепции евразийцев и свое мнение о тех не только научных дискуссиях, которые развертываются в российской печати вокруг евразийства.

В новейшей евразийской библиографии особого внимания, на мой взгляд, заслуживают четыре позиции. Одной из них является опубликованная в

1990 г. монографическая статья В. Н. Топорова «Николай Сергеевич Трубецкой — ученый мыслитель и человек (к столетию со дня рождения)». Статья, наряду с прочим, содержит шестнадцатистраничный фрагмент об этом «выдающемся русском историкософе и культурологе, одном из основоположников того сложного концептуального комплекса, который обозначается как евразийство» [1. С. 64]. Второй назову очень нужную, но, к сожалению, малотиражную книгу, изданную Институтом всеобщей истории РАН и содержащую отчасти уже печатавшиеся, а отчасти извлеченные из архивов программные высказывания виднейших теоретиков и пропагандистов евразийства — Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского, П. М. Бицилли, П. П. Сувчинского, Г. В. Флоровского, Л. П. Карсавина, С. Г. Пушкирева, М. В. Шахматова, А. В. Карташева, а также некоторые связанные с этими высказываниями выдержки из работ Н. А. Бердяева, В. И. Иванова и В. П. Никитина [2]. Публикуемые тексты сгруппированы в книге по тематическим разделам, каждый из которых сопровождается довольно пространными вступительными статьями: разделы I (Вокруг евразийства. Споры в русской эмиграции) и V (Евразийский синтез) подготовлены Л. В. Пономаревой; разделы II (Историсофия евразийства), III (Евразия: между Западом и Востоком) и IV (Культура Евразии: этнос и геополитика) подготовлены В. М. Хачатурян; раздел VI (Идеологи Евразийства: П. Н. Савицкий) подготовлен Н. Ю. Степановым. Общее введение к книге, озаглавленное «„Евразийство“: его место в русской и западноевропейской историко-философской традиции», написала Л. В. Пономарева. Издание может служить исходным рубежом для знакомства с теоретико-методологическими позициями крупнейших представителей евразийства, с важнейшими этапами его истории. Существенным недостатком книги представляется то, что, перепечатывая многие известные ранее сочинения в сокращении, издатели не дают хотя бы кратких примечаний о содержании опускаемых фрагментов, а некоторые публикуемые вновь тексты оставляют без хронологической привязки, хотя бы предположительной.

Несомненную ценность представляет посвященная евразийству подборка статей в журнале «Славяноведение» № 4 за 1992 г.; особенно интересна и по-хорошему сенсационна ее документальная часть. Во-первых, она включает подготовленную М. А. Робинсоном и Л. П. Петровским публикацию показаний известного ученого-лингвиста Н. Н. Дурново, осужденного по сфабрикованному «делу славистов»; изложил суть евразийской доктрины в понимании Н. С. Трубецкого, он высказал к ней довольно критическое отношение [3]. Во-вторых, в подборку вошло прокомментированное М. А. Робинсоном письмо едва ли не наиболее активного пропагандиста евразийства, П. Н. Савицкого, датированное 1928 г. и содержащее краткое изложение его взглядов [4]. Наконец, в-третьих, Л. Е. Горизонтов перепечатал в подборке «Евразийскую библиографию» П. Н. Савицкого, дополнив и прокомментировав ее на основании текста, сохранившегося в Бахметьевском архиве в Нью-Йорке [5]. Названная работа Савицкого, напечатанная в 1931 г. под псевдонимом Степан Лубенский, особенно ценна тем, что содержит довольно пространные аннотации всех важнейших изданий евразийцев, составленные не посторонним лицом, а виднейшим деятелем евразийства.

«Русские историки-эмигранты в Европе» — так называется посмертно изданная книга В. Т. Пашуто, которая несомненно сыграт выдающуюся роль в изучении нашей зарубежной историографии 20—30-х годов текущего столетия, в том числе ее евразийского ответвления [6]. Автор книги — известный специалист по истории славян в эпоху феодализма — умер в 1972 г. Обратившись к изучению жизни и деятельности историков-эмигрантов, он не только выявил, систематизировал и проанализировал огромное количество первоисточников, но также практически завершил работу над

монографией, которая двадцать лет оставалась в рукописи прежде всего по цензурным соображениям. Ныне Архив АН СССР опубликовал пять глав монографии В. Т. Пашуто и в качестве приложения к ним напечатал подготовленные их автором справочные материалы и тексты собранных источников: библиографию трудов историков-эмигрантов; обзор пражского архива П. А. Остроухова; описи архивных материалов А. В. Флоровского, А. В. Соловьева и Семинара Н. П. Кондакова; воспоминания Н. Н. Алексева; материалы для биографий Л. П. Карсавина, И. И. Лаппо, А. В. Флоровского и других ученых, в том числе так или иначе связанных с евразийством. Опубликована также часть той переписки В. Т. Пашуто, которая связана с собиранием материалов для монографии и уточнением сведений, содержащихся в этих материалах.

Названные публикации и другая специальная литература, которая появилась за последние несколько лет, сделали возможным более или менее близкое знакомство с евразийством и собрали воедино материалы, без которых невозможно развертывание подлинно научных исследований его историософии. Источниками для такого рода исследований являются прежде всего сочинения евразийцев, печатавшиеся за границей в малотиражных сборниках, журналах и газетах, которые, если и имелись в немногих наших библиотеках, то были почти недоступными не только потому, что находились в спецхранах, но и из-за отсутствия соответствующих библиографических пособий. Сейчас эти препятствия, хотя и не исчезли совсем, стали более преодолимы.

Теоретическое ядро евразийской доктрины было сформулировано Н. С. Трубецким. «Его обращение к этой теме не случайно,— пишет В. Н. Топоров.— Оно подготовлено глубокими размышлениями всей той замечательной традиции, которая связывает Киреевича и Хомякова с русскими философами начала XX в. ..., тем живым интересом к „русскому вопросу“, который проявлялся отцом Николая Сергеевича..., научными занятиями самого Николая Сергеевича и тем личным историческим опытом трех войн и трех революций, который вместили в полтора десятилетия между 1905 и 1920 гг.» [1. С. 64].

Манифестом евразийства стала книга «Европа и Человечество», изданная в 1920 г. в Софии; по словам автора, она явилась первой частью трилогии, которая была задумана еще в 1909—1910 гг. под названием «Оправдание национализма». Существенное в книге, писал Н. С. Трубецкой Р. О. Якобсону, в отвержении эгоцентризма и «эксцентризма» в русском национальном сознании [1. С. 65]. «Признание романо-германской культуры самой современной из всех культур,— утверждал Н. С. Трубецкой,— основано на эгоцентристской психологии», на убеждении в том, что развитие человеческого рода шло и идет «по пути так называемого мирового прогресса [2. С. 51]. Эта психология, считал он, должна быть коренным образом преобразована, ибо романо-германская культура «ничем не совершеннее, не „выше“ всякой другой культуры..., ибо „высших“ и „низших“ культур и народов вообще нет, а есть культуры и народы более или менее похожие друг на друга» [1. С. 66].

В первом евразийском сборнике, «Исход к Востоку», вышедшем в 1921 г., Н. С. Трубецкой поместил две статьи, в которых развивались эти мысли, озаглавив их «Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры».

Излагая их содержание, П. И. Савицкий писал: «В основу истинного национализма он кладет два положения: „познай самого себя“ и „будь самим собой“. Их применение на практике должно устранить в жизни неромано-германских народов вредоносное и противоестественное слепое подражание европейцам... На основании большого конкретного материала Н. С. Трубецкой приходит к следующим выводам: „Та культура (в смысле общего запаса культурных ценностей, удовлетворяющих материальные и духовные потребности данной среды), которой всегда жил русский народ, с этнографической точки зрения представляет из себя совершенно особую величину, которую нельзя включить без остатка в какую-либо более широкую группу культур или культурную зону. В общем, эта культура есть сама особая „зона“, в которую, кроме русских, входят еще некоторые угро-финские „инородцы“ вместе с тюрками волжского бассейна. ...Русские вместе с угро-финнами и волжскими тюрками

составляют особую культурную зону, имеющую связи и с славянством, и с „туранским“ Востоком, причем трудно сказать, которые из этих связей прочнее и сильнее“» [5. С. 88—89].

В 1925 г. Н. С. Трубецкой опубликовал статью «О туранском элементе в русской культуре», которую П. Н. Савицкий назвал одной из «основоположных» для евразийства научных работ. Аннотируя эту статью в «Евразийской библиографии», П. Н. Савицкий счел необходимым привести из ее текста следующую цитату:

«Московские цари, далеко не закончив еще „собираия русской земли“, стали собирать земли западного улуса великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. „Свержение татарского ига“ свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Чудо превращения татарской государственности в русскую осуществилось благодаря напряженному горению религиозного чувства, благодаря православно-религиозному подъему, охватившему Россию в эпоху татарского ига. Это религиозное горение помогло Древней Руси обогородить татарскую государственность, придав ей новый религиозно-этический характер и сделав ее своей. Произошло обрусение и оправославление татарщины [...] Массовый переход татарской знати в православие и на службу к московскому царю явился внешним выражением этой моральной притягательной силы» [5. С. 92—93].

В том же 1925 г. под псевдонимом И. Р. Н. С. Трубецкой издал 60-страничную книжку, озаглавленную «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока». В ней получили дальнейшее развитие мысли, выраженные в статье «О туранском элементе...», только, по словам П. Н. Савицкого, «мысли эти выражены по преимуществу в публицистической форме и не свободны от преувеличений». Недоволен автор «Евразийской библиографии» изображением реформ Петра I. Положительно оценивается им описание процесса «замены ордынского хана московским царем» (XIV—XV вв.) и подход Н.С. Трубецкого к проблеме европеизации России.

«В даваемой автором критике „европеизации“, — говорится в аннотации П. Н. Савицкого, — много правильного: период „европеизации“ породил в русском народе культурную разнь между „верхами“ и „низами“, которой не было ранее. Правильно и другое его утверждение — о том, что период коммунистической власти представляет собою видоизмененное продолжение того же периода европеизации. Но вполне обоснованный, по мнению пишущего эти строки, призыв к построению новой и самостоятельной культуры России-Евразии сложен в этой брошюре ненужным и неисполнимым отталкиванием от чужих культур» [5. С. 93—94].

В 20-е и 30-е годы Н. С. Трубецкой написал около двух десятков работ, связанных с далеким прошлым и с современными событиями.

В. Н. Топоров дал этим работам очень емкую и глубокую характеристику: «Тематика их разнообразна, но общее ядро ощутимо во всех работах. ...Широкий захват тем, пространств, эпох, культурных и языковых традиций не порождает расплывчатости, рыхлости, экстенсивности. Общее ядро — „русский вопрос“ — неизбежно собирает „разное“ в „единое“, центрирует это разное, придает всей концепции дополнительную глубину. Она сознается при охвате всего множества работ этого цикла, и только целое позволяет заметить в них редкое сочетание продуманной концептуальности и отчетливой практической установки (вплоть до „агитационности“).» Комментируя признание Н. С. Трубецкого в том, что евразийство содержало значительную дозу мистицизма, В. Н. Топоров пишет: «Как бы ни относиться к евразийству и к мистическому элементу в нем, в этой концепции или „мироощущении“ заключалось вполне реальное содержание, и Трубецкой был, несомненно, тем евразийцем, который лучше всего чувствовал эту реальность и потому менее других нуждался в мистических способах форсирования евразийской идеи. Для него Евразия была многогранально-целостным конкретным понятием природно-экологическим, географическим, хозяйственно-экономическим, геополитическим, но прежде всего — этноязыковым и культурно-историческим» [1. С. 67—68].

Первостепенное значение для знакомства с евразийской историософией и с доктриной евразийства в целом имеет вышедшая в 1927 г. книжка Н. С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания». Кроме авторского вступления, в нее вошли четыре статьи: «Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры (Этническая основа русской культуры)», «О туранском элементе в русской культуре», «Общеславянский элемент в русской культуре». Три первые из названных статей печатались ранее, последняя, занимающая половину сборника, была опубликована впервые. В «Евразийской библиографии» П. Н. Савицкого кратким обобщающим текстом аннотированы три перепечатанные статьи, а вновь пуб-

ликуемая разбирается подробнее [5. С. 97—98]. В. Н. Топоров предвещает подробный анализ книги вполне обоснованным мнением о том, что ей суждено было сыграть особую роль в дальнейшей разработке важных и трудных проблем, поднятых теоретиками евразийства. Отсылая интересующихся к самой книге и к тексту статьи В. Н. Топорова [1. С. 69—80], ограничусь здесь тем, что связано с характеристикой разновидностей русского национализма. Н. С. Трубецкой считал, что в послепетровской России истинного национализма еще не было, а существовал лишь ложный, развиваемый в подражание немцам.

«Для вящей параллели, — говорится в его книге „К проблеме русского самопознания“, — в рендант к пангерманизму создан был и „панславизм“, и России приписывалась миссия объединить все „идущие по пути мирового прогресса“ (сиречь, променивающие свою самобытность на романо-германский шаблон) славянские народы, для того, чтобы славянство (как понятие лингвистическое) могло занять „подобающее“ место в „семье цивилизованных народов“. Это направление западничающего славянофильства за последнее время перед революцией в России сделалось модным даже в таких кругах, где прежде слово „национализм“ считалось неприличным. Однако и более старое славянофильство никак нельзя считать чистой формой истинного национализма. В нем не трудно заметить все ... виды ложного национализма ... Замечалась всегда и тенденция построить русский национализм по образцу и подобию романо-германского. Благодаря всем этим свойствам старое славянофильство и должно было неизбежно вырождаться, несмотря на то, что отправной точкой его было ощущение самобытности и начало национального самопознания ... Таким образом, истинный национализм, всецело основанный на самопознании и требующий во имя самопознания перестройки русской культуры в духе самобытности, до сих пор был в России уделом лишь отдельных личностей» [1. С. 72].

Одновременно с книгой «К проблеме русского самопознания» вышла в «Евразийской Хронике» (вып. VIII) статья Н. С. Трубецкого «О государственном строе и форме правления», излагающая евразийское учение об идеократии; статью эту, утверждал П. Н. Савицкий, «необходимо прочесть всякому, кто хочет основательно ознакомиться с евразийством». Не менее значительной называл П. Н. Савицкий статью Н. С. Трубецкого об «Общевропейском национализме». Ее основная тенденция излагается в «Евразийской библиографии» следующим образом:

«...Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской Империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой, обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию Евразией, ее национализм — евразийством» [5. С. 101].

Воззрениям Н. С. Трубецкого аналогичны те общетеоретические посылки и конкретная привязка их к процессу социально-культурного развития народов Евразии, которые изложил П. Н. Савицкий — второй крупный идеолог евразийства — в неизвестном ранее тексте, опубликованном в сборнике под редакцией Л. В. Пономаревой.

«„Евразийская в географически-пространственных данных своего существования, русская культурная среда, — писал П. Н. Савицкий в 1923 г., — получила основы и как бы крепкий скелет исторической культуры от другой „евразийской“ культуры. Происшедшим же вслед за тем последовательным напластованиям на русской почве культурных слоев азиатско-азиатского (влияние Востока!) и европейского (влияние Запада!), „евразийское“ качество русской культуры было усилено и утверждено. „Евразийцы, — читаем далее, — в целом ряде идей являются продолжателями мощной традиции русского философского и историческо-социального мышления. Ближайшим образом эта традиция восходит к 30—40-м годам XIX века, когда начали свою деятельность славянофилы“. Признавая, что он сам и его единомышленники «выступают как осознатели русского культурного своеобразия» и считают своими предшественниками «всех мыслителей славянофильского направления», П. Н. Савицкий видел различие в том, что славянофилы недооценивали своеобразие отдельных славянских народов. «Поляки и чехи, — писал он, — в культурном смысле относятся к западному „европейскому“ миру, составляя одну из культурных областей последнего. Историческое своеобразие России явно не может определяться ни исключительностью, ни даже преимущественно ее принадлежностью к славянскому миру [...] Формула „евразийства“ учитывает невозможность объяснить и определить прошлое, настоящее и будущее культурное своеобразие России преимущественным обращением к понятию славянства: она указывает как на источник такого своеобразия на сочетание в русской культуре европейских и „азиатско-азиатских“ элементов» [2. С. 167—169].

В сборнике «Евразия» В. М. Хачатурян опубликовала недатированный текст, озаглавленный «Личное, национальное, общественное» и содержащий

краткое изложение некоторых важнейших составных частей историософской концепции евразийцев. Авторство текста не установлено, но обнаружен он в бумагах П. Н. Савицкого и скорее всего написан им. Как бы то ни было, автор опубликованного фрагмента, излагая свое мнение о соотношении друг с другом трех вынесенных в заглавие категорий, запальчиво полемизировал с теми, кто, подобно В. Г. Белинскому и Т. Н. Грановскому, утверждают, что личность «раскрывается в процессе устремления в сферу общечеловеческого», кто под общечеловеческим подразумевает все германо-романское или европейское.

«Утверждение единого, общечеловеческого логически естественным путем приводит к созданию абсолютных форм и идеалов. Германская философия пытается даже низвести абсолютное в человеческое сознание, а французский социализм предлагает трансцендентальную формулу, долженствующую разрешить общественную задачу... Корень ошибки, по нашему мнению, лежит в допущении возможности и реальности единого, общечеловеческого, возводимого таким образом в абсолютное [...] Народ живет веками, способствуя тем изменению народного самосознания каждой эпохи, однако сохраняя сознание своей индивидуальности через фазисы своего жизненного пути» [2. С. 55—56].

При обосновании своей концепции евразийцы придавали большое, во многом решающее значение геополитическим факторам, убедительно доказывая, что социально-историческое развитие и географическая среда сливаются в некое единое целое, взаимно влияя друг на друга. Исходя из этого, они занимаемую Россией территорию считали Евразией — чем-то вроде особого материка наравне с Европой и Азией. Одним из наиболее аргументированных в этом смысле научных трудов евразийского направления стала книга Г. В. Вернадского «Начертание русской истории» (Прага, 1927).

«Евразия, — говорится в ней, — представляет собою в настоящее время, с точки зрения этнической, сожителство разных народностей — русской, монгольской, турецкой, финской, манчжурской и многих других, играющих меньшую роль. Основными этническими элементами Евразии в настоящее время является элемент русский, с одной стороны, и монголо-турецкий — с другой. Преобладающее значение принадлежит первому ... Русский народ обладает удивительной способностью впитывать в себя чуждые этнические элементы и их усваивать. Поэтому с чисто расовой точки зрения народность IX-го и та же XX-го века существенно отличаются друг от друга. Славянская этническая основа русского народа ... была ... дополнена этническими элементами монголо-турецкими и финскими [...] Монгольское наследство облегчило русскому народу создание *плоти* евразийского государства. Византийское наследство вооружило русский народ нужным для создания мировой державы *строем идей*» [2. С. 102—104, 118].

В своей «Евразийской библиографии» П. Н. Савицкий назвал «Начертание русской истории» одним из немногих выпущенных в пореволюционные годы научных курсов русской истории.

В помещенной там аннотации говорится: «Судьбы русского народа Г. В. Вернадский проследживает на широком фоне истории Евразии, в чем, в первую очередь, и заключаются новаторские тенденции его курса. Изложение начинается не с Рюрика, но со скифов и сарматов. Особые параграфы посвящены готам и гуннам и затем „роли кочевых народов в истории“. „Вся история Евразии есть последовательный ряд попыток создания единого всеевразийского государства“. ...Центральное место в книге Г. В. Вернадского занимает история XIII—XV вв. Автор излагает ее в теснейшей связи с историей Монгольской империи, а затем Золотоордынской державы... Этот метод дает ему возможность нарисовать цельную, а в значительной мере и новую картину происходившего в эти века на пространствах России-Евразии». С одобрением приведено в аннотации то место «Начертания», где утверждается, что принадлежность „к золотоордынской геополитической системе и сопряженность с нею красной нитью проходит в русской истории“, что значение Золотоордынской державы в русской истории „не меньше значения империи Карла Великого в истории европейской“ [5. С. 98—99].

Обоснованию географической теории евразийства были посвящены две книги П. Н. Савицкого, вышедшие одновременно с «Начертанием русской истории» и озаглавленные «Географические особенности России» и «Россия — особый географический мир» (Прага, 1927). В книгах (вторая из них, по словам автора, является «сокращенным и переработанным изложением» первой) П. Н. Савицкий обосновывает свое учение о «месторазвитии», которым он «обозначил социально-политическую среду, рассматриваемую неотрывно от содержащей ее территории». Развивая приведенную формулу, П. Н. Савицкий привел следующую цитату из книги «Россия — особый географический мир»:

«Культурные традиции оказываются как бы вросшими в географический ландшафт, отдельные месторазвития становятся „культурно-устойчивыми“, приобретает особый, специально им свойственный „культурный тип“ ... Порукой тому, что отмечаемые черты обособленности и целостности Евразии имеют не только географическое, но также историческое значение, служит русская историософия. В вековом развитии, независимо от тех или иных географических определений ... она пришла к пониманию России как особого исторического мира. Не может быть случайным совпадение географического и историософского вывода, возникших независимо друг от друга: Россия как особый географический и Россия как особый исторический мир. Этим совпадением в чрезвычайной мере обосновывается категория „месторазвития“, стяжание воедино географических и исторических начал» [5. С. 97].

В очерке «Географические и геополитические основы евразийства», написанном в 1933—1934 гг. и опубликованном в сборнике «Евразия» по тексту, который хранится в архивном фонде П. Н. Савицкого, доказываемая, что на евразийском материке Россия занимает «основное его местопроствранство, его торс. По сравнению с русским „торсом“, Европа и Азия одинаково представляют собою окраину Старого Света». По убеждению евразийцев, мозаично-дробное строение Европы и Азии (в географическом смысле) содействует возникновению небольших, обособленных мирков. Природа евразийского мира, напротив, минимально благоприятна для разного рода сепаратизмов, как в политической, так и в культурной сфере.

В начале 1930-х годов П. Н. Савицкий писал: «Евразия и раньше играла объединительную роль в Старом Свете. Современная Россия, воспринимая эту традицию, должна решительно и бесповоротно отказаться от прежних методов объединения ... методов насилия и войн ... Евразийское „месторазвитие“ по основным свойствам своим приучает к общему делу. Назначение евразийских народов своим примером увлечь на эти пути также и другие народы» [2. С. 110, 116, 118].

В 1928 г. в Праге вышла брошюра П. Н. Савицкого, озаглавленная «О задачах кочевниковедения (почему скифы и гунны должны быть интересны для русского)». В ней очерчивается «месторазвитие» степных народов — «прямоугольник степей» от Карпат до Хингана, где степные культуры в течение долгих веков соприкасались с оседлыми культурами западной и восточной периферии материка, что обусловило единство исторического и экономического быта на всем пространстве степи.

В авторской аннотации на брошюру, помещенной в «Евразийской библиографии», П. Н. Савицкий писал: «Очерк заканчивается следующими словами: „Есть основания думать, что кочевниковедение станет по преимуществу русской наукой. Но желанны и другие силы. В частности, необходимо привлечение к кочевниковедной работе культурных сил современных кочевых народов. Народы эти должны найти свое место и свою почетную роль в общем деле России-Евразии“» [5. С. 100].

Проблемами кочевниковедения занимался Н. П. Толль, опубликовавший книжку «Скифы и гунны. К истории кочевого мира» (Прага, 1928). Через год появилось довольно объемистое сочинение Эржена Хара-Давана «Чингис-Хан как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII—XIV вв.» (Белград, 1929). П. Н. Савицкий в своей библиографии с явным удовольствием отметил, что работа эта стоит «в ближайшей связи с идеями евразийцев, а написана ученым-калмыком», что в ней «весьма удачно скомбинирован материал, позаимствованный из произведений монгольских, персидских, европейских и русских историков». В заключение он добавил: «Совершенно особый характер придает повествованию тот факт, что автор непосредственным, бытовым образом знаком с жизнью кочевников. Это позволяет ему в ряде случаев прийти к ценным и убедительным выводам» [5. С. 100].

Определенную роль в генезисе евразийской историософии сыграл П. М. Бицилли (1879—1953). В 1922 г. он поместил в сборнике «На путях. Утверждение евразийцев. Кн. I» свою статью «„Восток“ и „Запад“ в истории Старого Света». В ней доказывалось, что на евразийском материке творческая созидающая роль издавна принадлежала «мирам окраинно-приморским — Европе, Индостану, Ирану, Китаю». Срединное же пространство, от Урала до Куэнь Луня, от Ледовитого океана до Гималаев, было поприщем скрещения культур обитающих там народов, фактором распространения этих культур,

внешним условием для выработки культурного синкретизма. Возражая тем, кто видел в России только щит, защищающий Европу от монгольских нашествий, П. М. Бицилли заявлял: «Символу „щита“ я бы противопоставил символ „пути“, или, лучше сказать, дополнил бы один другим [...] Россия не только посредница в культурном обмене между отдельными азиатскими окраинами. Вернее, она менее всего посредница. В ней творчески осуществляется синтез восточных и западных культур» [2. С. 88, 90]. Аннотируя содержание сборника «На путях», П. Н. Савицкий следующим образом оценил цитировавшуюся статью:

«Работа П. М. Бицилли ... заключает в себе попытку рассмотреть историю Старого Света как целостный и согласованный процесс, проникнута стремлением установить вселенские горизонты. Сотрудничество П. М. Бицилли в евразийских изданиях продолжалось недолго¹. Но то стремление, которое выражено в его статье, не иссякло в евразийстве. И как раз сравнительно недавно, уже в 1930-м году, в совсем другой области, в лингвистике, оно привело к замечательному открытию Р. О. Якобсона [7]. Именно, рассматривая Старый Свет как нечто целое, Р. О. Якобсон пришел к установлению существования *евразийского языкового союза*» [5. С. 89].

Свое особое место среди теоретиков евразийства занял Н. Н. Алексеев, что было специально отмечено в «Евразийской библиографии». «В пятой книге „Евразийского Временника“, — писал П. Н. Савицкий, — выступил автор, работ которого не было в предшествовавших евразийских изданиях, но которому предстояло внести исключительно большой вклад в евразийское дело: это государствовед ... Н. Н. Алексеев». В статье, опубликованной в 1927 г., Н. Н. Алексеев применил евразийскую историософию к оценке федералистских черт тогдашнего советского государства.

«Форма федерализма, которую можно назвать советской, — говорится в статье, — обладает целым рядом преимуществ, недостаточно оцененных современной политикой ... Условия политической жизни России и государств западной культуры — весьма различны, и нормальное для Запада может быть совершенно непригодно у нас. Безумием было бы, если бы будущее правительство России повторило по отношению к децентрализационным процессам все ошибки самодержавия и все ошибки белого движения. Но не меньшим безумцем нужно считать и того, кто, придя в современную Россию, применяя в ней федералистическую программу в стиле старого российского радикализма, попытается перестроить Россию на манер Соединенных Штатов Америки» [5. С. 96—97].

Мысли, изложенные в процитированной статье, Н. Н. Алексеев развивал в одновременно изданной небольшой книжке «На путях будущей России (советский строй и его геополитические возможности)» (Париж, 1927). Не случайно в «Евразийскую библиографию» внесены и еще два его книжных издания: «Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства» (Париж, 1928) и «Теория государства. Теоретическое государствоведение. Государственное устройство. Государственный идеал» (Париж, 1931). П. Н. Савицкий с удовлетворением отметил, что в последней из названных книг Н. Н. Алексеев «сопоставляет учение о государственной территории с выводами новейшей геополитики и в частности с выдвинутой евразийцами геополитической характеристикой России. Россия-Евразия определяется им как „государство-мир“, в отличие от „государств-волостей“, „земель“ и т. д. В учение о народе вводится представление о нем как о коллективной „многочеловеческой“ общности» [5. С. 104].

Очень важным связующим звеном между Востоком и Западом евразийцы считали на определенном этапе Византийское государство. Убедительное подтверждение этому они видели в пользовавшихся непререкаемым авторитетом исследованиях Н. П. Кондакова по истории древнерусского искусства. В одном из них говорится:

«Народное творчество установило свою полную типическую самобытность задолго до X века; тем более начала художественной промышленности выразились ... прежде всего ... не в церковной архитектуре и ее видах, но в обиходной жизни, в быту, в костюмах, украшениях

¹ В библиографии, составленной В. Т. Пашуто, значатся еще три статьи П. М. Бицилли по евразийской проблематике: Народное и человеческое (1925); Два лика евразийства (1927); К вопросу о взаимоотношениях «Востока» и «Запада» в истории Европы (1939) [6. С. 110].

и пр. Народный быт развивался в оригинальных формах уже в самую раннюю эпоху, ранее V века, когда были восприняты с особою силой культурные формы Византии и среднеазиатского востока» [6. С. 41].

Статья В. Н. Топорова о Н. С. Трубецком, сборник «Евразия», «Евразийская библиография» П. Н. Савицкого, опубликованная заново Л. Е. Горизонтовым, и книга В. Т. Пашуто содержат богатые материалы для знакомства с воззрениями и деятельностью не только называвшихся выше, но и других евразийцев, выяснения основной сути евразийства и важнейших черт его историософии. Но рамки статьи ограничены, а мне хотелось бы затронуть и некоторые другие аспекты заявленной темы, прежде всего вопрос о месте евразийства в истории науки и общественной мысли России.

При внимательном рассмотрении кое-какие разрозненные элементы «евразийского» подхода к происходившим событиям можно обнаружить задолго до появления евразийства. Не без основания связанный с евразийцами историк-эмигрант Е. Ф. Шмурло, внимательно изучив сочинения Ю. Крижанича, пришел к выводу, что он был не «тайным папистом», а горячим сторонником объединения всех славян с Россией как державой не только европейской, но и зауральской [6. С. 58—59]. Из более поздних примеров можно сослаться на высказывания активного петрашевца А. П. Баласогло, который, считая Россию органической частью человечества, связующим звеном между Европой и Азией, заявлял, что она будет примирительницей Востока и Запада, что «славянская душа есть избранный сосуд слияния народов в человечество» [8]. В цитированшемся выше тексте «Евразийство» П. Н. Савицкий прямо называл среди предшественников этого течения «Гоголя и Достоевского (как философов-публицистов)» [2. С. 167]; называли евразийцы также других дореформенных и пореформенных славянофилов, в том числе А. С. Хомякова, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева. Однако евразийская доктрина смогла выделиться и оформиться в самостоятельное течение лишь в специфических условиях первого послереволюционного десятилетия, когда в вынужденной эмиграции оказалась значительная часть русской интеллигенции, в том числе видные ученые-гуманитарии. Учитывая огромные перемены, происшедшие в Европе, и пытаясь определить будущее России на основе убеждения в неповторимом своеобразии путей ее социально-культурного развития, некоторые из них пришли к евразийству, которое, несомненно, было одной из очередных трансформаций решения славянского вопроса, обусловленной новой исторической обстановкой. Большинство же, сохранив верность традиционной трактовке славянского вопроса в духе пореформенного славянофильства или неославизма, относилось к евразийству весьма критически.

Эмигрантская среда, в которой складывалась евразийская доктрина, была весьма неоднородной в социально-политическом и идейном смысле. Главные теоретики евразийства, по крайней мере большинство из них, довольно настороженно относились к непосредственному участию в политических действиях. В письме от 9 сентября 1925 г. Н. С. Трубецкой, обращаясь к своим ближайшим соратникам, писал, что людей, именующих себя «нашими», чрезвычайно мало — «немножко более ста», и заявлял: «...Самым ценным для нас элементом являются люди, разочаровавшиеся не в той или иной политической партии, а в политике вообще и понявшие, что не в политике суть дела». Излишнюю заангажированность в этой области Н. С. Трубецкой резко осуждал, например, у П. Б. Струве, П. Н. Милюкова, П. Н. Врангеля, П. П. Скоропадского, называя их «политическими мертвецами». Что касается православной духовности, то увеличение ее удельного веса в деятельности и сочинениях евразийцев Н. С. Трубецкой считал весьма желательным и необходимым. Никак нельзя, заявлял он, убавлять «дозу церковности в нашей пропаганде, чтобы не „отпугнуть“ каких-то религиозно-индифферентных офицеров» [2. С. 153—155].

Опасность политизации грозила теоретикам евразийства и с другой стороны. Ведь подавляющее большинство их научных и публицистических изданий готовилось и публиковалось при более или менее активной поддержке правительственных органов и видных политических деятелей в Праге, Софии, Белграде. Положительную роль играли в ряде случаев те личные связи, которые возникли в ходе подготовки и проведения неославистских съездов — Пражского 1908 г. и Софийского 1910 г. Естественно, что правительственная поддержка, которая оказывалась евразийству в соответствующих странах, не могла базироваться и не базировалась исключительно на альтруистических мотивах. В одном из документов Министерства иностранных дел Чехословакии, датированном 1931 г., не случайно был прямо подтвержден преимущественно политический смысл «Акции русской помощи», которая имела в виду главным образом образом отдельных лиц и российских эмигрантские общества, образовавшиеся с одобрения Министерства внутренних дел. «Эти лица, — говорится в документе, — соответственно и организации, могли распоряжаться указанными субвенциями по собственному усмотрению, а по их возвращении в восстановленную Россию должны бы были пропагандировать ЧСР, как в области культурной, так и хозяйственной, а суммы, затраченные чехословацким правительством на их поддержку в эмиграции, должны были быть возмещены приглашением чешской интеллигенции в Россию ... и выделением государственных дотаций чехословацкой промышленности, которая бы имела перед промышленностью других государств преимущественное право» [6, С. 24, 31]. Любопытные подробности о «русской акции» содержатся в воспоминаниях Н. Н. Алексеева, опубликованных в книге В. Т. Пашуто.

«Помимо русских симпатий, — говорится в них, — были и другие обстоятельства, толкавшие чехов на эту широкую благотворительность ... При отступлении своем с Волги на Владивосток отряд легионеров в Казани нашел часть золотого запаса русского казначейства, говорят, целый вагон русского золота ... Золото это послужило фондом для образования в Праге чешского Легио-банка. Бенеш, сам бывший легионер и большой русофил, и президент Масарик чувствовали, будучи людьми в высшей степени порядочными и честными, некоторую неловкость создавшегося положения и считали, что у них есть моральная обязанность по отношению к русским как-то возместить свой русский долг. Бенеш, как и почти все в начале двадцатых годов, был убежден, что большевизм не продержится в России более 5, самое большое 10 лет и что воспитанная в Чехословакии русская молодежь вместе с их профессорами ... вернутся в Россию и послужат там закваской для образования нового европейского демократического государственного строя» [6. С. 211—212]; (см. также статью З. Сладека в [9]).

Трудно сказать, давал ли кто-либо из теоретиков евразийства какие-то политические обязательства чехословацким властям; скорее всего, они не участвовали в переговорах с МВД или МИД, хотя, почти наверняка, знали, что переговоры ведутся. Как бы то ни было, теоретическую суть и научную аргументацию евразийской доктрины историко-культурного развития следует четко отделять от тех политических интерпретаций этой доктрины, которые имели хождение, с одной стороны, в российских эмигрантских группировках различной идейной направленности, с другой — в соответствующих государственных органах буржуазной Чехословакии.

Евразийцы многое сделали для выявления специфики исторического развития народов огромного региона и разносторонних взаимосвязей между ними, для изучения материальных и духовных факторов, оказавших влияние на менталитет и формы государственности русской нации, которая складывалась на евразийских пространствах не в простом соседстве, а в тесном контакте с многими другими этносоциальными общностями. Теоретико-методологические установки евразийцев, конкретные результаты разработки ими ряда важных проблем прочно вошли в актив как отечественной, так и мировой науки. Один из крупнейших современных языковедов, ученый очень широкого профиля, В. Н. Топоров, совершенно обоснованно пишет, что у нас целый ряд мыслей Н. С. Трубецкого «за последние 60 лет был подхвачен, усвоен и развит», что многое из его наблюдений и выводов «не

только оригинально, но и верно — и не только в „отвлеченном“ историко-софском, но и в собственно историческом плане» [1. С. 78]. Аналогично оценивал научное наследие евразийства видный российский историк и этнолог Л. Н. Гумилев, который заявлял: «...Меня называют евразийцем и я не отказываюсь ... это была мощная историческая школа» [10].

Нынешний интерес российской общественности к соответствующему кругу вопросов вполне естествен и обусловлен тем, что наша страна находится сейчас на крутом повороте своей истории. Об этом свидетельствуют не только научные, но также полунучные и совсем не научные, но весьма запальчивые статьи в разного рода периодических изданиях. Приведу несколько примеров.

В ноябре 1992 г. «Литературная газета» опубликовала статью А. Сабова «Выстрел в Россию» [11]. Очень нужная и своевременная по своему основному содержанию, эта статья рикошетом ударила по настоящему научному евразийству. А. Сабов вполне убедительно разоблачает ту часть российской эмиграции конца 30-х годов, которая активно поддерживала гитлеризм, воевала на стороне Рейха, а после его падения пополняла ряды разных фашистских или фашиствующих организаций в Западной Европе. Метки и актуальны те абзацы статьи, которые подтверждают наличие тесных связей между современными западноевропейскими националистами и нашими красно-коричневыми, группирующимися вокруг газеты «День» и связанными с ней лидерами коммунистической оппозиции — В. Алкснисом, С. Бабуриным, Е. Лигачевым. Солидаризуясь полностью с основными оценками А. Сабова, хочу только предупредить читателей, что его статья относится к политической публицистике, а фигурирующие в ней «евразийцы» не имеют ничего общего с научным евразийством, важнейшие теоретические постулаты которого диаметрально противоположны как прежнему, так и нынешнему национал-социализму.

Статья И. А. Исаева «Евразийство: миф или традиция?» опубликована в журнале «Коммунист» в 1991 г. чуть ли не в последнем номере перед его превращением в «Свободную мысль». Автор статьи — историк государства и права; естественно, это наложило свой отпечаток на содержание приводимого в статье конкретного материала. Что касается общей оценки евразийства, то она хотя и политизирована, но включает и сдержанно сформулированное признание его научных заслуг. И. А. Исаев в одном месте определяет евразийство как «самобытное движение», пытавшееся решить вопрос о том, «кто мы и куда идем», дававшее за него ответ «не всегда убедительный и правильный», а в другом — как идеологическое течение, претендовавшее на «единственно верное истолкование национальной (точнее, этнической традиции)», считавшее себя выразителем «особого мировоззрения», «политическая конструкция» которого «приобрела ... прежде всего геополитическое измерение». В конце текста автор однозначно заявляет, что евразийская доктрина, несомненно, является «очередной социально-политической утопией». Это несколько противоречит началу статьи, где говорится, что знакомство с евразийством поможет нам «представить многосложность проблемы духовного обновления общества, создания новой нашей государственности, в частности, и как Союза суверенных „европейских“ и „азиатских“ республик» [12].

Последняя из процитированных фраз И. А. Исаева вызывала большое неудовольствие у украинского востоковеда Ю. Кочубея, опубликовавшего в газете «Літературна Україна» большую статью «Що таке „евразійство“». Досталось от Ю. Кочубея также Л. Н. Гумилеву за упоминавшиеся выше интервью в «Нашем современнике», а заодно другим ученым — С. С. Авринцеву, Г. Д. Гачеву, Д. С. Лихачеву, А. Д. Сахарову и политическим деятелям — М. С. Горбачеву и Г. Шахназарову, писателям — А. А. Ананьеву, А. А. Вознесенскому и Е. А. Евтушенко. Ю. Кочубей резко осудил всех,

кто считает, что весьма длительное существование Российской империи и Советского Союза обуславливалось не злой волей евразийцев, а связано с какими-то объективными факторами. Украинский востоковед, судя по тексту статьи, неплохо знаком с литературой настоящего евразийства 20—30-х годов; он называет, в частности, фамилию Н. С. Трубецкого и не упускает случая отметить, что Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий были его земляками.

«Деякі праці „евразійців“, — пише він, — і справді були цікавими: вони вводили в науковий обіг нові погляди щодо стосунків східних слов'ян, а пізніше російського народу з народами Сходу, зокрема тюркськими. Бажання розглядати хід історії Росії не тільки із західноєвропейської вишки, а й беручи до уваги її тісні зв'язки з Азією, було похвальним і відкривало можливості для плідних досліджень з історії, порівняльної культурології народів, що входили до її складу в ті чи ті періоди». Но, сказавши это, Ю. Кочубей не излагает основной сути теоретической концепции евразийства, а сразу формулирует обвинительное заключение: «Біда в тім, що „евразійство“ було не лише історичною школою, а й геополітичною доктриною» [13].

Подтверждается это несколько странное обвинение (геополитический подход в науке ничем не «грешнее» любого другого), с одной стороны, выхваченными из контекста высказываниями Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого (главный теоретик евразийства — Н. С. Трубецкой — оставлен почему-то без внимания), с другой стороны, совершенно искусственным пристегиванием к евразийству самых разнообразных идейно-политических доктрин, начиная от «відомих геополітичних „конструкцій“ у Неміччині й Італії» до пролетарского интернационализма в ленинско-сталинском его варианте. По мнению Ю. Кочубея, события 30—40-х годов (конкретно — присоединение Прибалтики, Выборгского района, Бессарабии и Буковины, Волыни и Галичины) наполнили радостью сердца евразийцев; послевоенные перемены, знаменитый тост И. В. Сталина в 1945 г. целиком успокоили евразийствующих русских интеллигентов, и они вернулись к великодержавной империалистической апологетике в ее чистом виде. Большая часть гиперкритических высказываний Ю. Кочубея бездоказательна; их истоки, несомненно, связаны с тем, что он евразийство в науке путает с евразийством в политике, а простой, чисто географический термин «Евразия» не отличает от того комплексного этнолингвистического и историко-культурного понятия «Евразия», которым пользовались в свое время Н. С. Трубецкой и его соратники по евразийским исследованиям. Политические прежде всего, а не научные задачи статьи Ю. Кочубея вполне подтверждаются заключительным обращением его к читателям:

«Нам немає потреби бігти за імперським возом „евразійства“ і вступати у сумнівні конгломерати, де ми нечаяно опинимось у незмінній меншості з усіма негативними політичними, екологічними, екологічними та іншими наслідками, які з такого стану випливають» [13].

Три приведенных примера, а количеством их можно было бы увеличить, показывают, что в литературной и общественно-политической периодике бытует в настоящее время сильно искаженное представление о научных концепциях евразийцев 20—30-х годов и их идейных позициях. Это объясняется, во-первых, слабой изученностью мировоззрения и деятельности тех русских ученых-эмигрантов, которые в 20—30-е годы создали теоретическую основу евразийства; во-вторых существенными различиями научных и политических позиций ведущих евразийских теоретиков и внутренней противоречивостью взглядов едва ли не каждого из них; в-третьих, тем, что речь идет о вопросах, в которых наука неизбежно переплетается с политикой и потому не всегда просто отделить их друг от друга. К сожалению, не только в публицистике, но иногда и в научных работах все это учитывается недостаточно. Хуже того, некоторые из авторов, знакомых с сочинениями настоящих евразийцев и специальной литературой о них, даже не пытаются дать объективную оценку евразийству, а пускаются в политические спекуляции вроде тех, которыми переполнена статья Ю. Кочубея. Чтобы показать полную необоснованность обвинений всех евразийцев в российском великодержавии, обращусь еще раз к теоретическим

построениям Н. С. Трубецкого, в частности, к разработанному им понятию личности, на котором базировалась фактически вся концепция евразийства.

«Понятию личности,— пишет В. Н. Топоров в статье о Н. С. Трубецком,— придается углубленно-расширительный смысл; личность может быть не только „частночеловеческой“, но и „многочеловеческой“, „симфонической“, т. е. статус личности характеризует и отдельного человека, и целый народ, и даже группу народов, объединенных делом создания особой, общей для них всех культуры, ибо любая личность „предполагает целесообразное творчество“. Этот „расширительный“ концепт личности как бы уравнивается тем, что каждая личность, даже „частночеловеческая“, не представляет собой некое далее не членимое единство. Напротив, личность представляет себя в разные моменты своего существования в целом наборе индивидуаций, или ликов, сменяющих друг друга в зависимости от жизненной ситуации, но существующих в принципе одновременно». Н. С. Трубецкой, продолжая далее В. Н. Топоров, подчеркивает, что личность в его понимании не может быть сведена к сфере психического, что, имея дух и плоть, она проявляет себя в обеих этих сферах. «Для личностей многочеловеческих (народных и многонародных),— писал Н. С. Трубецкой во вступлении к книге «К проблеме русского самопознания»,— эта связь с физическим окружением (с природой территории) настолько сильна, что приходится говорить прямо о неотделимости данной многочеловеческой личности от ее физического окружения и рассматривать это физическое окружение как продолжение данной многочеловеческой личности, во всяком случае, как исходный ее коррелят, причем самую связь между личностью и ее физическим окружением приходится рассматривать как функциональную, совершенно оставляя в стороне вопрос, личность ли избрала это подходящее для нее физическое окружение, или физическое окружение повлияло на эту личность, приспособив ее к себе» [1. С. 69].

Исходя из этих теоретических посылок и опираясь на многие лингвистические, культурологические, этногеографические, этнопсихологические, правоведческие и иные исследования, евразийцы убедительно подтвердили отстаиваемый ими и ныне прочно вошедший в науку вывод о том, что различные народы, живя в длительном соприкосновении друг с другом на евразийском пространстве, образуют определенную «многонародную» общность. То, что на протяжении ряда столетий почти вся эта общность входила в один, хотя и менявшийся по составу и структуре, государственный организм (в Московскую Русь, Российскую империю, Советский Союз), по мнению евразийцев, было объективно обусловлено не только для прошедшего времени, но и для будущего. Может быть, такое их убеждение в той или иной части окажется ошибочным, но чтобы подтвердить или опровергнуть его, недостаточно ссылки на сегодняшнюю политическую ситуацию. Нельзя обвинять Н. С. Трубецкого и его соратников в «великодержавности», как это делает Ю. Кочубей, без оговорок о том, что в евразийской триаде — «частночеловеческая личность», «многочеловеческая личность» (т. е. народ) и «многонародная личность» — центральное и ключевое место занимает среднее звено, т. е. народ, за которым признается полное право на самопознание и саморазвитие как внутри, так и вне «многонародной личности».

Что касается плохо замаскированных обвинений Ю. Кочубея о склонности евразийцев к авторитаризму, о симпатиях к гитлеровцам и сталинистам, то по отношению к подавляющему большинству из них они представляются мне совершенно беспочвенными, граничащими с клеветой. Касаясь этого вопроса, уместно напомнить украинскому востоковеду появившуюся в 1935 г. статью Н. С. Трубецкого «О расизме», в которой резко осуждается антисемитизм и иные формы национальной нетерпимости в фашистском рейхе.

«Немецкий расизм,— писал он,— основан на антропологическом материализме, на убеждении, что человеческая воля не свободна, что все поступки человека в конечном счете определяются его телесными особенностями, передающимися по наследству, и что путем планомерного скрещивания можно выработать тип человека, особенно благоприятствующий торжеству данной антропологической единицы, именуемой народом. Евразийство, отвергающее экономический материализм, не видит никаких оснований принять материализм антропологический, философски еще гораздо менее обоснованный, чем экономический. В вопросах культуры, составляющей область свободного целеустремленного творчества человеческой воли, слово должно принадлежать не антропологии, а наукам о духе — психологии и социологии» [1. С. 84].

Идейно-теоретические позиции ученого вполне подтверждаются фактами его биографии. Н. С. Трубецкой умер в Вене 25 июня 1938 г., т. е. через

три месяца после аншлюсса Австрии Германией; едва ли не главной причиной смерти был обсык, который гестаповцы учинили в доме тяжело больного ученого. Вдова Н. С. Трубецкого, В. П. Трубецкая, в 1958 г. вспоминала:

«Новый режим принес ему большие личные заботы: он никогда не скрывал своего антинационал-социалистского направления мыслей и даже написал статью о расовом вопросе, где подверг расовую теорию уничтожающей критике. В случае выздоровления эмиграция представлялась ему единственным выходом» [14. С. 98].

Споры между славянофилами и западниками в XIX в., идейные баталии между сторонниками и противниками евразийства в 20—30-х годах текущего столетия, нынешние нескончаемые дискуссии о судьбе нашей страны, которая трещит под напором разного рода сепаратизмов, — конечно же, не случайны. За всеми этими противоречиями скрываются различные подходы к проблеме взаимоотношений между человеком, нацией и государством (по терминологии евразийцев — между личностями — «частночеловеческой», «многочеловеческой» и «многонародной»). Мне кажется, что в понимании теоретической сути данной проблемы, в определении реальных перспектив ее решения евразийцы были ближе к истине, чем их оппоненты. В самом деле, взаимоотношения между человеком, нацией и государством складывались и складываются по-разному в зависимости от условий, места и времени. Большая часть человечества миновала этап формирования наций и либо уже живет в государствах, которые называются национальными, хотя фактически чаще всего являются многоэтническими, либо ведет борьбу за собственную государственность. С другой стороны, ныне существует немало народов, прошедших полный цикл национального развития и вступивших на путь создания крупных межгосударственных объединений типа европейского сообщества. В них права человека и роль государства неизбежно будут расти, а значение нации будет постепенно уменьшаться и трансформироваться. В Восточной Европе и на нашем евразийском пространстве в большой моде сейчас «нациестроительство». Нельзя не согласиться с В. А. Тишковым, который, отмечая это, пишет: «Идея нации, видимо, еще долго останется мощной мобилизующей силой для полиэтничных сообществ, пока не будет достигнуто такое материальное благосостояние, которое позволит без истерики поделиться с „иноязычными“» [15]. Что же касается более или менее отдаленного будущего, то оно, по мнению В. А. Тишкова, и с ним трудно не согласиться, не за повсеместным господством чисто национального принципа, а за гармонично сочетающимися друг с другом многонациональными сообществами, в которых полностью обеспечиваются как права человека, так и права нации.

Не менее опасно чрезмерное преувеличение роли последнего звена в трехчленной связке человек — нация — государство. Об этом свидетельствуют недавние высказывания А. И. Лукьянова, который пытается теоретически обосновать необходимость и возможность скорейшего восстановления Советского Союза вместе со всей его государственной структурой. Этот ученый-правовед и бывший государственный деятель, высказывая свое твердое убеждение в том, что право — это «лишь олицетворение государственной политики», что человек может и должен быть не более, чем «винтиком государственной машины», едва ли обоснованно ссылается на свою «близкую дружбу» с Л. Н. Гумилевым и утверждает, будто его, Лукьянова, позиция соответствует теоретической доктрине евразийства [16]. Но это совершенно не соответствует действительности, в чем читатели могли убедиться по приводившимся выше высказываниям Н. С. Трубецкого и других настоящих евразийцев.

Другим крупным теоретическим вопросом, занимавшим евразийцев, был вопрос о том, насколько специфичны пути исторического развития России. Утверждая, что русский народ может и должен идти своей неповторимой дорогой, евразийцы обосновывали этот тезис гораздо большим набором

аргументов, чем славянофилы, причем ссылались не столько на «славянскость» русских, сколько на неповторимую специфику «месторазвития» Российского государства. Именно поэтому о евразийцах, как и о славянофилах, охотно вспоминают любители припахивающих мессианством рассуждений об особом пути развития России. Перехлестав при этом допускается сколько угодно. Среди многих крайностей, которые высказывались в нашей печати, весьма привлекательным островком спокойствия и рассудительности мне показалось следующее мимоходом высказанное суждение С. П. Залыгина:

«Вряд ли такая своеобразная страна, как наша, сможет сегодня повторить чей-то чужой путь, это так же верно, как и невозможно себе представить, будто в современном мире можно существовать независимо от него, исключительно на основе своей собственной, пусть и весьма своеобразной истории, на основе некоего национального субъективизма» [17].

Особого внимания заслуживает, на мой взгляд, высокопрофессиональное мнение Д. С. Лихачева. Считая, что Русь X—XII вв. следует определить как Скандовизантию, а не как Евразию, и утверждая, что истоки национальной культуры у России и Востока совершенно различны, он в то же время заявляет: «...Но это вовсе не отрицает, а скорее обуславливает сегодняшнюю необходимость их взаимопонимания и взаимопомощи. Именно в этом, а не в каком-то другом смысле и должна пониматься нынче идея Евразийства» [18].

На примере евразийства можно лишний раз убедиться в том, как важно разностороннее и спокойное рассмотрение сути каждой из научных концепций, связанных славянским вопросом, как необходим анализ объективных условий, определивших их направленность и характер их политической интерпретации. Мне кажется, что евразийская проблематика должна стать для российских гуманитариев, в том числе славистов, одной из тех областей, которые особенно нуждаются в глубоком и добросовестном исследовании. Историографический аспект евразийства, несомненно, заслуживает самостоятельного изучения, начиная с овладения всем имеющимся фактическим материалом и кончая анализом теоретико-методологических установок историков-евразийцев, оценкой научного наследия каждого из них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В. Н.* Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения)//Советское славяноведение. 1990. № 6.
2. *Евразия.* Исторические взгляды русских эмигрантов/Отв. ред. Л. В. Пономарева. М., 1992.
3. *Робинсон М. А., Петровский Л. П.* Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ—НКВД)// Славяноведение. 1992. № 4.
4. *Робинсон М. А.* Письмо П. Н. Савицкого Ф. И. Успенскому//Славяноведение. 1992. № 4.
5. *Горизонтов Л. Е.* Евразийство: 1921—1931 гг.: взгляд изнутри//Славяноведение. 1992. № 4.
6. *Пацуто В. Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992.
7. *Якобсон Р. О.* К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931.
8. Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953. С. 109—110.
9. Славяноведение. 1993. № 4.
10. *Гумилев Л. Н.* «Меня зовут евразийцем...»//Наш современник. 1991. № 1. С. 132.
11. *Сабов А.* Выстрел в Россию. Портреты русских фашистов в интерьере эпохи//Литературная газета. 1992. 4 II. С. 14.
12. *Исаев И. А.* Евразийство: миф или традиция?//Коммунист. 1991. № 12. С. 106—118.
13. *Кочубей Ю.* Шо таке «евразійство»//Літературна Україна. 1992. 7 V. С. 3.
14. *Топоров В. Н.* Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения)//Советское славяноведение. 1991. № 1.
15. *Тишков В.* Оставьте себе горные вершины!//Новое время. 1991. № 27. С. 32.
16. *Никитинский Л.* Белый ворон. Интервью с А. И. Лукьяновым//Новое время. 1993. № 11. С. 15.
17. *Залыгин С. П.* Подлинные и мнимые секреты перестройки//Новый мир. 1992. № 12. С. 274.
18. *Лихачев Д. С.* О русской интеллигенции. Письмо в редакцию//Новый мир. 1993. № 2. С. 9.



МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Кравецкий А.Г.

ДИСКУССИИ О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (1917–1943)

Эта статья представляет собой фрагмент очерка истории церковнославянского языка в XX в. Насколько можно судить сейчас, в окончательном виде очерк должен касаться, с одной стороны, проблемы места церковнославянской книжной традиции в культуре эпохи, обзор дискуссий и деклараций, связанных с церковнославянским языком, а с другой – истории текстов, созданных или исправленных в XX в., и их языковых особенностей. Хронологически удобно выделить два периода: 1. 1917–1943 – время, когда издательская деятельность была практически невозможна (единичные книги, увидевшие свет в это время, не получили общецерковного признания), и 2. с 1943¹ по 1987 г. – период, при анализе которого в центре внимания окажутся не дискуссии, а изданные тексты. Также уместно различать издания, осуществленные на территории СССР, и эмигрантские издания (в настоящее время у нас нет материалов, связанных с церковнославянскими изданиями зарубежья, так что эта тема ждет своего исследователя).

В рассматриваемую эпоху проблемы литургического языка обсуждались, с одной стороны, Поместным Собором 1917–1918 г., а с другой – в связи с обновленческой смутой. Отчеты о работе соборной комиссии, занимающейся проблемами литургического языка, никогда не публиковались, соответствующие обновленческие тексты также малоизвестны, поэтому пересказу мы предпочтем цитирование или полное воспроизведение никогда не публиковавшихся документов.

Кравецкий Александр Геннадиевич – младший научный сотрудник Института русского языка РАН

¹ Осенью 1943 г. состоялась встреча митрополитов Сергия, Алексия и Николая, с И.В.Сталиным после чего в частности возник издательский отдел Московской Патриархии и начала издаваться богослужебная литература.

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР

15 (1) августа 1917 – 20 (7) сентября 1918

До недавнего времени единственным источником информации об обсуждении на Соборе проблем церковнославянской книжности служили предварительные материалы [1], неоконченная статья свящ. П.Ильинского [2], мемуары митрополита Евлогия (Георгиевского) [3] и классическая статья Б.Сове [4]. В изданных «Деяниях» Собора эта проблематика не отражена. В дальнейшем изложении мы будем опираться на архив Собора, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации².

Из интересующих нас проблем на Соборе рассматривались следующие: 1. О литургическом языке; 2. Об изменениях в молитвословиях, связанных с политическими событиями; 3. О реформе Типикона; 4. О проблемах библейской текстологии, принципах издания и толкования Св. Писания. Первые три темы рассматривались на заседаниях отдела³ «О богослужении, проповедничестве и храме», председателем которого был архиепископ Евлогий (Георгиевский); четвертый – Библейским отделом (председатель – епископ Калужский Феофан). Рассмотрим каждую из этих тем отдельно.

1. Проблема литургического языка

Вопрос о литургическом языке и тексте богослужбных книг возник на начальном этапе подготовки к Собору. В 1905 г. Св. Синод обратился к епархиальным архиереям с вопросами, касающимися предстоящей церковной реформы. Среди этих вопросов не было вопроса о *литургических* реформах, однако двадцать архиереев в той или иной форме ставили вопрос о языке. Эти ответы опубликованы и доступны [1].

В марте 1906 г. начинает работу Предсоборное присутствие, однако его отделы занимались главным образом вопросами реформы высшего и епархиального управления, прихода, церковного суда и др. Созданный для обсуждения внутренней миссии VI отдел Присутствия коснулся вопросов богослужения, однако, признав их важность, отказался приступить к обсуждению, указывая, что «ввиду важности и сложности вопросов ... их касаться не следует, отложив разрешение их до завершения переустройства церковного управления». [4. С. 53].

В 1917 г. Предсоборным советом был поставлен вопрос о литургическом языке. На заседании 10 июля 1917 г. профессором Киевской духовной академии П.П.Кудрявцевым сделан доклад о допущении русского и других языков в богослужение. П.П.Кудрявцев допускает богослужение на национальных языках, однако отдает себе отчет в том, с какими трудностями предстоит столкнуться переводчикам литургических текстов, и считает, что эти работы будут продолжаться многие десятилетия. По докладу П.П.Кудрявцева выступило 12 человек: епископ Андроник (Никольский), архиепископ

² Местонахождение этого архива указал нам Е.Полицук.

³ Некоторые вопросы обсуждались сразу на Соборе или на Совещениях епископов.

Евлогий (Георгиевский), архиепископы Сергей (Старгородский), Андрей (Ухтомский), протоиереи Ф.Д. Филоненко, А.П.Рожественский, С.И.Шмелев, миряне Д.И.Боголюбов Н.М. Гринякин, проф. И.М.Громогласов. Решительным противником работ в этом направлении оказался только епископ Пермский Андроник [5. № 283. л. 545–548]. VI отделом были приняты следующие тезисы:

1. Введение в богослужение русского или украинского языка допустимо.

2. Немедленная и повсеместная замена в богослужении церковнославянского языка русским или украинским языком и неосуществима и нежелательна.

3. Частичное применение русского и особенно украинского языка в богослужении (чтение Слова Божия, отдельные молитвы и песнопения, тем более замена или пояснение отдельных речений русскими или украинским речениями, введение новых молитвословий на русском языке, в случае их одобрения церковью) допустимо и в известных условиях желательно⁴.

4. Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на русском или украинском языке, в меру возможности, подлежит удовлетворению.

5. Творчество в богослужении допустимо и возможно.

6. Дальнейшие работы Особой Комиссии по переводу, исправлению и упрощению славянского языка в церковных книгах желательны⁵.

7. Работы комиссии Высокопреосвященного Сергея, архиепископа Финляндского и Выборгского по сему предмету желательны [5. № 283. л. 550–551].

На Священном Соборе 1917–1918 г.г. был образован отдел «О богослужении, проповедничестве и церковном искусстве» под председательством еп. Евлогия (Георгиевского). Один из подотделов этого отдела обсуждал проблемы, связанные с богослужебным текстом и языком. Подотдел работал с 9 по 26 сентября 1917 г. Председательствовал на нем еп. Оренбургский Мефодий. Всего состоялось 5 заседаний⁶. Пересказ выступлений, прозвучавших в ходе дискуссии, невозможен из-за недостатка места. Тех, кого интересует аргументация сторонников и противников перевода богослужебных текстов на русский язык, мы можем отослать к обзору А.А.Плетневой [6]

Из выступавших на подотделе последовательными противниками перевода были еп. Андроник (Никольский), еп. Сильвестр, еп. Мефодий⁷, арх. Агифодор, свящ. Пономарев, Н.И.Панин, Н.И.Троицкий,

⁴ еп. Андроник (Никольский) подал голос лишь за перевод церковных книг для домашнего употребления

⁵ В п. 6-7 речь идет о созданной в 1907 г. Комиссии по исправлению богослужебных книг. В работе комиссии, возглавляемой арх. Сергием (Старгородским), принимали участие А.И.Соболевский, Н.Н. Глубоковский, В.В.Лагъшев, Д.И.Абрамевич, В.Н.Бенешевич, И.Е.Евсеев и другие ученые. О деятельности Комиссии см [4. С. 58–62].

⁶ Протоколы заседаний этого подотдела см. 5. № 295. —Изложение хода работ — [5. № 283. л. 545–582].

⁷ Его взгляды изложены в [7]

И.В.Курбатов, В.К.Лебедев, Ф.Г.Зибаров⁸, проф. В.Д.Прилуцкий⁹, генерал. Л.К.Артамонов. Допустимость перевода отстаивали, с теми или иными оговорками, арх. Евлогий (Георгиевский), священники П.М.Ильинский, М.Ф.Марин, М.С.Елабужский, П. Ратьковский, миряне П.В.Попович, В.К.Недельский, И.В.Фигуровский, Н.И.Знамеровский, А.Ф.Гораин, М.Н.Котельников, проф. Б.А.Тураев и П.П.Кудрявцев, прот. Т.П.Теодорович и А.А.Хотовицкий.

На четвертом заседании, которое состоялось 21 сентября 1917 г., арх. Евлогий поставил на голосование 9 тезисов, которые в основном совпадают с девятью первыми пунктами окончательного варианта документа. Тезисы были приняты. На заседании 26 сентября был добавлен пункт 10 (предложение Н.И.Знамеровского, принято единогласно) и 11 пункт: «Издать русский перевод Библии богомудрых LXX толковников. Перевод должен быть снабжен указанием разночтений, темных и переносных мест по русской Библии с еврейского языка». Протоколы заседаний подотдела и отдела [5. № 295. Л. 42] сообщают о том, что этот пункт был принят, однако в окончательный вариант документа он не вошел. Вероятно это связано с тем, что Собором был создан Библейский отдел, в компетенцию которого входил этот вопрос.

Доклад «О церковно-богослужебном языке» должен был рассматриваться на 40-м заседании Отдела, которое состоялось 12 (25) июля 1917 г. Однако слушание было отложено из-за отсутствия епископа Оренбургского Мефодия. Состоялось лишь небольшое обсуждение, во время которого (цитирую протокол): «И.А.Карабинов указал на основанную при бывшем Св.Синоде комиссию для исправления и предлагал ждать дальнейших трудов ее; кн. Е.Н.Трубецкой, указав (вместе с еп. Зиновием) на опасность потери векового наследия красот богослужебного языка, питающего душу верующего, настаивал на необходимости установления принципов для обсуждения и, в этих целях, обстоятельного доклада обо всем сделанном по вопросу» [5. № 283. Л. 527]. Подготовить доклад, систематизирующий все сделанное подотделом, было поручено А.И.Новосельскому. Этот доклад был прочитан 23 июля (5 августа) 1917 г. В докладе содержится достаточно подробное изложение истории обсуждения проблемы литургического языка епархиальными архиереями в 1905 г., предсоборным советом в 1917 г. и подкомиссией. В результате был принят следующий документ [5. № 296. Л. 1]:

⁸ В своем докладе крестьянин Ф.Г.Зибаров привел следующий любопытный аргумент: «В народе говорят, что придет антихрист, что знамением его будет то, что станут отнимать старые книги и дадут новые. Книги мы отнимем и оставим народ без молитв» [5. № 283. Л.558]

⁹ Считал, что достаточно было бы упростить синтаксис.

СВЯЩЕННОМУ СОВОРУ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

Доклад *Отдела о богослужении, проповедничестве и храме* «О церковно-богослужебном языке».

1. Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние нашей родной церковной старины и потому он должен сохраняться и поддерживаться как основной язык нашего богослужения.

2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются права общерусского и малороссийского языков для богослужебного употребления.

3. Немедленная и повсеместная замена церковнославянского языка в богослужении общерусским или малороссийским нежелательна и неосуществима.

4. Частичное применение общерусского или малороссийского языка в богослужении (чтение слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и т.п.) для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении сего церковной властью желательно и в настоящее время.

5. Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на общерусском или малороссийском языках в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью.

6. Св. Евангелие в таких случаях читается на двух языках, славянском и русском или малороссийском.

7. Необходимо немедленно образовать при Высшем Церковном Управлении особую комиссию как для упрощения и исправления церковнославянского текста богослужебных книг, так и для перевода богослужений на общерусский или малороссийский и иные употребляемые в русской церкви языки, причем комиссия должна принимать на рассмотрение как уже существующие опыты подобных переводов, так и вновь появляющиеся.

8. Высшее Церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском, общерусском или малороссийском, употребляемых в православной русской церкви языках, а также изданием таковых же отдельных книжек с избранными церковнославянскими богослужебными молитвословиями и песнопениями.

9. Необходимо принять меры к широкому ознакомлению с церковнославянским языком богослужения как через изучение его в школах, так и путем разучивания церковных песнопений прихожанами для общецерковного пения.

10. Употребление церковно-народных стихов, гимнов на русском и иных языках на внебогослужебных собеседованиях по одобренным церковною властью сборникам признается полезным и желательным.

Замещающий Председателя *Епископ Симон*
Докладчик *Андрей Новосельский*
Делопроизводитель *Николай Кедров*.

Доклад¹⁰ был заслушан Соборным Советом 29 августа (11 сентября) 1918 г. и передан на рассмотрение Совецания епископов [5. № 296. Л. 2]. Проходившее 19 (22) сентября в келиях Петровского монастыря Совецание епископов, на котором председательствовал Святейший Патриарх Тихон, рассмотрело доклад [5. № 192. Л. 189]. Стенограммы обсуждения в архиве нет, поэтому приведем текст справки – последнего по времени документа, касающегося этого доклада [5. № 296. Л. 7]:

«Священным Собором Православной Российской Церкви 30 августа (12 сентября) с.г. было утверждено постановление Соборного Совета о передаче на разрешение Совецания Епископов представленного Отделом о богослужении, проповедничестве и храме доклада о церковно-богослужебном языке.

Совецание Епископов, заслушав в заседании 19 (22) сентября с.г. означенный доклад, постановило: доклад этот передать высшему церковному управлению.

Согласно сему постановлению Совета Епископов и во исполнение по сему предмету Предсоборного Совета представляю означенный доклад о церковно-богослужебном языке на разрешение Высшего церковного управления¹¹.

Передача доклада Высшему церковному управлению означала, что он может быть проведен в жизнь без обсуждения на общем заседании. Характерно, что когда над Собором нависает угроза насильственного закрытия, принимается постановление: «В случае создавшейся для Собора необходимости приостановить свои занятия ранее выполнения всех намеченных задач, предоставить Высшему Церковному управлению вводить выработанные Собором предначертания в жизнь по мере надобности полностью или в частях, повсеместно или в некоторых епархиях, с тем, чтобы с возобновлением занятий Собора таковыя предначертания были представлены на рассмотрение Собора» [5. № 628. Л. 5].

На основании этого 23 мая (5 июня) 1918 г. Соборным советом было постановлено «не рассмотренные Собором доклады отделов препроводить на благоусмотрение Высшего церковного управления» [5. № 628. Л. 5–6]. В число этих докладов попадают некоторые важные для нашей темы документы, однако постановление «О церковно-богослужебном языке» сюда не входит. Постановление

¹⁰ Любопытно сравнить этот документ с отношением к богослужению на национальных языках II Ватиканского собора: « 1. Употребление латинского языка, за исключением случаев, предусмотренных церковным правом, должно сохраняться в латинских обрядах. 2. Но так как и на Литургии, и в преподавании таинств, и в иных частях Богослужения употребление местного языка может быть весьма полезным для народа, то можно уделить ему больше места, особенно в чтениях и поучениях, в некоторых молитвах и песнопениях <...> 3. <...> Надлежит компетентной территориальной церковной власти <...> решать об употреблении и о способе употребления местного языка; эти решения должны быть приняты или подтверждены Апостольским Престолом. 4. Перевод латинского текста на местный язык для употребления его в Богослужении должен быть одобрен компетентной церковной территориальной властью» [8] Через два десятилетия после принятия этого документа католики ряда европейских стран перешли на национальные языки.

¹¹ Поскольку каноны знают только епископские соборы, все решения утверждались Совецанием епископов, которое имело право veto. Строго говоря, решение Епископского совещания является решением Собора [9]

было принято и Высшее церковное управление имело полное право осуществлять его¹². Через 12 лет Заместитель Местоблюстителя Патриаршего престола Сергей (Старгородский) сделает это.

Изложенное выше находится в некотором противоречии с воспоминаниями митрополита Евлогия, председателя Отдела:

«Жаркие и интересные дебаты возникли в моем Отделе по поводу перевода богослужения.

Мой товарищ, проф. Кудрявцев, высказал мысли, которые разделяли многие: «Я ничего не имею против перевода, — сказал он, — но кто будет переводить? Богослужение — священная поэзия. Если Шекспира переводить трудно, потому что надо, чтобы переводчик был на высоте поэзии, которую он переводит, то для богослужения нужен не только поэт, но и святой поэт. Мы имеем переводы некоторых отрывков из св. Иоанна Дамаскина, сделанные Алексеем Толстым, но и это лишь приближение к настоящему ...».

Вопрос о переводе богослужения был отвергнут. Украинцы негодовали. Они стояли за перевод, независимо от соображений эстетики. Их не коробил возглас «Грегочи, Дивка Непросватанная», весте церковного «Радуйся, Невеста Невестная».

Было ясно, что с докладом о переводе нечего нам было и соваться в общее собрание. Самый факт обсуждения перевода вызвал нарекания. Один из епископов упрекнул меня за обедом в общезнании в том, что я, якобы в угоду украинцам, допустил обсуждение, которое он считал недопустимым» [2. С. 297–298]

Противоречия между воспоминаниями арх. Евлогия и документами Собора объясняются, во-первых, тем, что воспоминания диктовались через 30 лет после описываемых событий, когда идея русского перевода и литургических реформ была скомпрометирована спекуляциями обновленцев, а во-вторых, — в августе–сентябре, когда доклад рассматривался Соборным советом и Совещением епископов митрополит в работах Собора не участвовал [2. С. 296] и мог не, знать об утверждении этого доклада.

2. Изменения в молитвословиях, связанные с политическими событиями

Изменение формы государственного и церковного управления естественно влекло за собой изменение текстов молитв о России, властях и воинстве. Впервые эта проблема встает сразу после отречения Николая II. Работа была поручена возглавляемой арх. Сергием (Старгородским) Комиссии по исправлению богослужебных книг, на основании выводов которой уже 7–8 марта 1917 г. Синод принимает постановление за № 1223 «Об изменении богослужебных чинов и молитвословий» [11] и № 1226 «Об изменениях в церковном богослужении в связи с прекращением поминовения царствующего

¹² Согласно определению Собора «О круге дел, подлежащих ведению органов Высшего церковного управления» в их число входило: 1. Охранение текста богослужебных книг, наблюдение за его исправлением и переводом и, с одобрения Церковного Собора, благословение на печатание вновь составленных или переизданных отдельных служб, чинов и молитвословий. 2. Дела, касающиеся богослужебного чина. [10. С. 13–14]

дома» [11], согласно которому «во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома возносить моление: *Во вѣхранимѣй державѣ российскѣй и вѣговѣрномъ временномъ правительствѣ ея*». Для каждой богослужебной книги необходимые изменения печатались на отдельных листах, которые клеивались в старые богослужебные книги.

Механическая замена молитв о Царствующемъ доме: молениями о временномъ правительствѣ не могла не вызвать протеста. Уместное по отношению к царю моление *Во вѣгчестѣйшійшемъ самодержавнѣйшемъ, великомъ гдѣи нашемъ* не может быть перенесено на власть, не обладающую особой харизмой¹³.

Новые молитвословия вызвали протест, отголоски которого обнаруживаются в письмах Собору. Так авторы одного из писем обвиняют иерархов в том, что они «ввели в обиход церковной службы просительную ектению, от которой душу выворачивает наизнанку „о благонамеренном временном правительствѣ“, не останавливаясь ни на секунду, чтобы размыслить: из каких лиц состоит это „правительство“. Кто его выбирал. Кто его назначал. Каким путем дошли эти лица до правительственного аппарата. Не в крови ли руки этих лиц. Не будет ли смущена вера православного русского народа при воспоминании архиереями и священниками атеистов, цареубийц и просто убийц при выходе со Св. Дарами на Херувимской» [5. № 286. Л. 43].

На заседании Собора 28 марта (10 апреля) 1918 г. было оглашено «заявление за подписью 34 членов Собора о поручении отделу О богослужении ... принять меры к введению единообразия в церкви при возглашении молений о державѣ Российской, о войнах и проч.» [5. № 288. Л. 60].

6 апреля 1918 г. на заседании отдела сообщается текст, предложенный комиссией, в которую входили еп. Пахомий, проф. Б.А.Тураев, проф. И.А.Карабинов, иером. Афанасій (Сахаров):

а). на великой ектении: *«о страждущей Державѣ Российской и о спасении ея Господу помолимся».*

б). на сугубой ектении и на литии: *«Еще молимся о страждущей Державѣ Российской и о спасении ея».* Поминовения же воинства должны быть опущены.

В том же заседании Отдел имел суждение об изменениях в тропаре Святому Кресту «Спаси Господи...» и в других местах богослужебных книг, где прежде было поминовение царствующего императора, и постановил: признать желательным исправление Тропаря Святому Кресту в следующих выражениях: *«Победы благовернымъ людямъ Твоимъ надъ сопротивныя даруй».* Эту же поправку следует возносить везде, где прежде возносилось имя императора, о чем также представить через Соборный совет на благоусмотрение и надлежащее распоряжение Священного Синода [5. № 625. Л. 2].

Собор не успел рассмотреть этот доклад и в числе других дел, решения по которым не были приняты, он был передан Высшему церковному управлению. В упоминавшемся выше списке не рассмотренных Собором докладов, доклад «О возношении молений о Державѣ Российской и воинствѣ» значится под номером 27. Нам

¹³ О сакрализации монарха в России см. [13].

неизвестно, были ли эти тексты введены в богослужебную практику.

Свой современный вид текст тропаря и кондака Св. Кресту приобрели после заседания Временного свящ. Синода 30 ноября 1933, когда на основании рапорта арх. Пермского «с ходатайством о преподании указаний по вопросу о единообразном тексте тропаря и кондака Кресту Господню» эти тексты были вновь пересмотрены [15]. Изменения осуществлялись в следующем порядке: определение Синода от 7-8 марта 1917 г. содержит следующий текст тропаря: Спаси, гди, люди твоа и блгослови достойнне твоё, победы хртолюбивоу воннствъ нашему¹⁴ на сопротивнымъ дръмъ и твоё сохраниа кртбмъ твоимъ жительство [11, с. 4]. Кондак читается так: Вознесыйся на кртъ волюю, тезоименитоу твоёмъ новомъ жительствъ щедроты твоа дръви, хртё бже: возвесели хртолюбивоу воннство наше¹⁵, победы даа омъ на спосататы, побое иищю твоё, шрже мира, непобедимю победъ [11. С. 4]. Дальнейшие исправления касались лишь подчеркнутых частей текста. Соборное определение заменяет хртолюбивоу воннствъ нашему на благовернымъ людямъ твоимъ, а указ Синода от 30 ноября 1933 г. вообще исключает подчеркнутую часть.

Что касается молений о властях, то теперь они приводятся в точное соответствие с апостолом Павлом: ѿ вѣохранитѣй странъ нашей, властѣхъ, и воннствѣ ѡмъ, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всакомъ блгочестіи и чистотѣ¹⁶. По всей вероятности, эта редакция была введена указом¹⁷ митр. Сергия от 8 (21) октября 1927 г. [14, с. 153].

Другим текстом, исправление которого диктовалось текущими событиями, были анафематствования Чина Православия. С одной стороны, было необходимо отказаться от некоторых явно неактуальных текстов, с другой — начало репрессий против церкви (убийство 25 января (4 февраля) митр. Киевского Владимира (Богоявленского) и других) побудило группу из 30 членов Собора выступить с заявлением, в котором содержалась просьба «уделить должное внимание подвигу архипастырей, пастырей и мирян, самоотверженно выступивших по всей России на защиту Христовой Церкви в годину воздвигнутого на нее гонения и выразить глубокое негодование насильникам над Церковью Христовой, преподать благословение защитникам ея, подтвердить церковное отлучение гонителям Церкви...» [5. № 625. Л.2].

На заседании Совецания Епископов 26 февраля (11 марта) 1918 г. Патриарх предлагает обсудить вопрос о Чине православия. В принятом Совецанием Епископов тексте вместо 11-го анафематствования (Помышляющымъ, такъ православіи госдари возводятся на престолы не по особливому ѿ нихъ вѣию благоволенію, и при помазаніи ддрованіа стѣго дха къ прохожденію великаго сегю званіа въ нихъ не изавѣются: и такъ дерзвующымъ противъ ихъ на вѣнтъ и измѣнъ¹⁸, анадема. [16; 17]) читается следующий текст: *Глаголящимъ гульная и ложная на*

¹⁴ В дореволюционных молитвословах на месте подчеркнутого текста читалось «вѣговѣрномъ императорѣ нашемъ имперекъ».

¹⁵ В дореволюционных молитвословах на месте подчеркнутого текста читалось «силою твоёю блгвѣрного императора нашего, имперекъ».

¹⁶ Молю оубо прѣждѣ всѣхъ творити молитвы, моленіа, прошеніа, вѣгодреніа за всѣ члвчки: за цркъ, и за всѣхъ, иже во власти сѣтъ: да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всакомъ блгочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2. 1-2)

¹⁷ Подлинный текст этого указа нам неизвестен. Обзор дискуссионный, касающихся уместности молитв об атеистической власти см. [14. С. 153-160].

¹⁸ В изданиях начала XIX в. здесь следует уточнение: такъ гришкѣ отрёпльвѣа, и иванъ мазепѣ и прочимъ подѣвнымъ [18].

святую веру нашу и Церковь, восстающим на святыя храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим же и убивающим священники Господни и ревнители веры отеческая, анафема.

При возгласении вечной памяти (Пострадавшимъ и бѣженнымъ въ различныхъ походахъ за православную веру...) снималось подчеркнутое уточнение, что делало этот текст относящимся и к новомученикам. Многолетия теперь должны петься Патриарху Московскому и всея Руси, вселенским патриархам (поименно), клиру, а также «Христианскаго благочестія ревнителем и защитником Христо-вы Церкви, и всемъ православнымъ христианамъ».

На следующий день – 27 февраля (11 марта) постановление Совещания Епископов было оглашено на заседании Собора и принято к сведению [5. № 625. Л. 5–7].

Требование введения в богослужение молитв о новомучениках содержится в соборном определении «О мероприятиях, вызванных происходящими гонениями на Православную церковь»:

1. Установить возношение в храмах за богослужением особых прошений о гонимых ныне за Православную веру и Церковь и о скончавших жизнь свою исповедниках и мучениках.

3. Установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января¹⁹ или в следующий за ним воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников [10. С. 55]

3. О реформе Типикона

Реформа устава предполагает радикальный пересмотр богослужебных книг, поэтому, если бы доклад «Об упорядочении богослужения»²⁰ был принят, это повлекло бы за собой книжную справу, программа которой содержалась в докладе. Исправление устава должно было идти одновременно с пересмотром книг:

«15. Существующая при Св.Синоде Комиссия для исправления богослужебных книг преобразуется в постоянное учреждение, которое, кроме книжного исправления, должно вообще ведать богослужением и решать все относящиеся к нему вопросы.

16. При исправлении богослужебных книг в ближайшую очередь следует пересмотреть текст нашего Типикона ...

17. Наряду со славянским Типиконом следует издать русский перевод... [5. № 174. л. 218–219].».

Параллельно с правкой устава должны исправляться и богослужебные книги. В докладе содержатся конкретные рекомендации по исправлению основных книг, например: «Евхаристический канон следует напечатать с такой расстановкой знаков препинания, которая ясно обозначала грамматическое отношение возгласений к читаемым тайно молитвам...».[5. № 174. л. 220].

Дискуссия, которая развернулась при подготовке этого доклада, чрезвычайно интересна (см. [4. С. 67–68]). Многие выступления до

¹⁹ Митрополит Владимир был убит в ночь с 25 на 26 января.

²⁰ Докладчики И.Карабинов и В.Тураев.

сих пор не потеряли своей актуальности, однако это относится к истории устава, а не языка.

16 (28) августа 1918 г. доклад был рассмотрен Советом епископов, который решил не выносить этот доклад на Собор, «но напечатать на пишущей машинке и разослать преосвященным в качестве приблизительного руководства по вопросу об уставном сокращении» [5. № 291. Л. 19]. В своих мемуарах митр. Евлогий пишет, что «митрополит Тихон, председатель Соборного президиума²¹, нашему проекту ходу дать не захотел, опасаясь нареканий, главным образом, со стороны старообрядцев. С ними в те дни наметились пути сближения и намерение Собора изменить церковный устав могло встретить с их стороны энергичный отпор: за устав они готовы были умереть» [2. С. 297].

3. Проблемы библейской текстологии, издания и толкования Св. Писания

Первоначальная программа работ Собора не предполагала обсуждения вопросов библейской экзегетики и текстологии. Однако обойти эти проблемы оказалось невозможно и 5 (18) марта 1918 г. был создан Библейский отдел, который должен был заниматься следующими вопросами:

1. О составе Ветхозаветной Библии или об отношении Православной Церкви к неканоническим книгам и отделам Ветхого Завета.

2. О взаимном отношении и сравнительном достоинстве подлинного ветхозаветного текста и греческого текста LXX.

3. О значении священной филологии при школьном изучении Священного Писания как Ветхого, так и Нового Заветов; т.е. об обязательном знакомстве всех питомцев духовных школ с еврейским языком и с особенностями греческого языка перевода LXX и Нового Завета.

4. Об отношении православных толкователей и исследователей Слова Божия к толкованиям святоотеческим и исследованиям западных библеистов разных направлений. Кроме того, отделу предстоит разработать план нового издания славянского и русского переводов Библии, составление краткого общедоступного толкования всех священных книг обоих заветов [5. № 496. Л. 4].

Программа работ Библейского отдела вдохновлялась идеями Комиссии по научному изданию Славянской Библии при Петроградской духовной академии, позиции которой были изложены в Обращении к Собору и брошюре И.Е.Евсеева «Собор и Библия»²² [5. № 496. Л. 21; 19].

Отдел был создан незадолго до окончания работы Собора, однако он успел подготовить доклад «Об основных положениях Библейского совета при Высшем церковном управлении» (докладчики А.П.Рожественский и Д.В.Рожественский).

«Заслушав на заседании Отдела доклад проф. прот. А.П.Рожественского о ближайших задачах по изданию Библии и имея в виду близкое окончание работ священного Собора, Библейский отдел пришел к мысли о желательности образования при Высшем Церковном Управлении особого Библейского совета. В этом совете

²¹ Т.е. Совета епископов.

²² Это обращение Библейской комиссии к Собору было опубликовано К.Логачевым [20]; см. также [21]

церковная власть имела бы постоянный совещательный орган по столь важному и неотложно нужному делу, как дело издания Святой Библии для нужд русского народа, ее изучения и толкования <...>.

Основные положения о Библейском Совете при Высшем Церковном управлении:

1. При Высшем Церковном Управлении учреждается Библейский совет.

2. В задачи Библейского совета входит: а) пересмотр и исправление русского и славянского текстов Библии; б) составление нового русского перевода Библии на основании изучения еврейского и других древних текстов; в) издание русского перевода Ветхого Завета по тексту LXX; г) издание Библии с толкованиями; д) разработка вопроса о составе Библии; ж) выработка наилучшего типа печатных изданий Библии

3. Состоя под покровительством Святейшего Патриарха, Библейский совет исполняет поручения Высшего Церковного Управления, вырабатывает предложения²³ по собственному почину и представляет их на рассмотрение Высшего Церковного Управления.

4. Библейский совет составляется из академических и университетских преподавателей, из преподавателей духовных учебных заведений и из других лиц, могущих своими знаниями и трудами содействовать исполнению его задач.

5. Председателем Библейского совета состоит один из членов Священного Синода по назначению самого Священного Синода. Товарищ председателя избирается Советом из числа его членов на 3 года.

Для привлечения к делу изучения и издания Библии широких кругов православного общества, по инициативе Совета может быть учреждено Русское Библейское общество по особому Уставу, выработанному Советом» [5. № 496. Л. 21].

Собор не успел рассмотреть этот доклад. В списке не рассмотренных Собором докладов доклад «Об основных положениях Библейского Совета при Высшем Церковном Управлении» фигурирует под № 33 [5. № 288. Л. 5-6].

ПОСЛЕ СОБОРА

В этом разделе речь в основном пойдет о проблемах, которые встали в связи с обновленческим расколом²⁴. До недавнего времени авторов практически всех публикаций, посвященных обновленчеству, в основном интересовал вопрос о роли карательных органов в создании «Живой церкви». Остальные проблемы отходили на второй план. Теперь, когда открытие архивных фондов рассеяло последние сомнения в том, что обновленческая смута была инспирирована властями (см. [22]), наступило время анализа вопросов, которые вставали в связи с обновленчеством.

Считается, что обновленцы были сторонниками русского богослужения и радикальных литургических реформ. Однако

²³ Так в тексте. Может быть предложением?

²⁴ Поскольку сводной библиографии по обновленчеству нет, а историков Церкви в советскую эпоху больше интересовала политическая проблематика, наши сведения неполны и мы будем рады любым дополнениям и уточнениям.

знакомство с официальными документами обновленчества показывает, что это миф. Чтобы не быть голословными, приведем *единственное* официальное²⁵ высказывание обновленцев по этому вопросу — резолюцию поместного собора, точнее — обновленческой конференции 1926 г.:

Священный Собор Православной Церкви, заслушав доклады различных церковно-обновленческими группами (так в оригинале²⁶ — А.К.) о церковных преобразованиях, считает необходимым, не вводя никаких догматических и богослужебных общеобязательных реформ, пригласить всех работников церковного обновления всемерно охранять единство Церкви; благославляет творческую инициативу и сделанный почин, направленный на пробуждение религиозного чувства, церковного сознания и общественной нравственности» [25. С. 22].

Конечно, какую-то работу в этом направлении могли предпринимать представители мелких, находящихся на периферии движения обновленческих группировок. Так на состоявшемся в июне — июле 1924 г. съезде (соборе²⁷) Союза церковного возрождения²⁸ была принята следующая резолюция:

1. Переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным и важным приобретением культовой реформы и неуклонно проводить его, как могучее оружие раскрепощения верующей массы от могущества слов и отогнания суеверного раболепства перед формулой²⁹. Живой родной и всем общий язык один дает разумность, смысл, свежесть религиозному чувству, понижая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника, переводчика, спеца, чародея.

Русскую литургию, совершаемую в московских храмах Союза, рекомендовать к совершению и в других храмах Союза, вытесняя ею практику славянского, так называемой Златоустовой литургии <...>

3. Благословить литургические дарования людей искреннего религиозного чувства и поэтической одаренности, не заграждая и не пресекая религиозно-молитвенного творчества. Вводить же в общее употребление по испытанию на практике с епископского благословения. Приветствовать литургические труды священника К.Смирнова³⁰ и иметь о них суждение после их напечатания. [26. С. 274—275].

Союз церковного возрождения оставался малочисленной организацией, лишенной всякого влияния. Практическая реализация этих решений свелась к подготовке митр. Антонином реформированного чина литургии. В основу положен чин Литургии

²⁵ Брошюры и листовки, обосновывающие необходимость русификации богослужения (например [23; 24]) выражали лишь точку зрения их авторов.

²⁶ По числу погрешностей против русского языка эти материалы побивают все рекорды. Впрочем, здесь можно прочитать и что «для успеха церковного дела в обществе необходимо разработать и ввести в сознание новое материалистическое понимание христианства» [25. С. 21—22]

²⁷ Антонин (Грановский) называл этот съезд «собориком»

²⁸ Организатором и вдохновителем Союза был митрополит Антонин (Грановский), отлученный как от патриаршей церкви (Указ 9 октября 1923 г.), так и от обновленческой [26. С. 192].

²⁹ Как и многие другие обновленческие документы текст изобилует советизмами.

³⁰ Как мы увидим дальше, в реформированных о.Константином богослужебных чинах сохранился церковнославянский язык.

Иоанна Златоуста, который был несколько пересмотрен по другим вариантам литургии древней церкви. Реформированный Антонином текст был издан [27]. В 20-е годы эта литургия служилась в Заиконоспасском монастыре, который принадлежал тогда Союзу церковного возрождения.

Из примыкавших к Союзу людей наиболее талантливым был свящ. Константин Смирнов, которому принадлежит попытка пересмотра (в авторской терминологии – реконструкции) чина литургии „в целях ее большей выдержанности и осмысленности, силы производимого ею на душу молящегося впечатления“ [28. С. X]. При этом язык и текст остаются неприкосновенными. Евхаристический канон дается с параллельным русским переводом. То же самое можно сказать и о подготовленном свящ. Константином Смирновым *«Чине общей исповеди»* [29]. Хотя, по характеристике автора, *«композиция данного «Чинопослования»* всецело принадлежит нам и в этом смысле может быть названо лишь нашим именем – Константиновским» [29. С. IV], язык чина остается неприкосновенным. Даже паремии читаются по-церковнославянски³¹.

Принципиальным отличием предпринимаемых обновленцами переводов богослужебных текстов от дореволюционных опытов является то, что если дореволюционные опыты такого рода делались для того, чтобы помочь мирянам лучше понять *церковнославянский* текст богослужения, то теперь богослужение может совершаться по-русски. Отметим также упоминаемый прот. Н.Г.Поповым перевод *Литургии Иоанна Златоуста* свящ. Ф.Н.Жукова [23. С. 4], однако о выходе этой книги в свет нам ничего не известно.

Единственным действительно заслуживающим внимания переводческим опытом являются работы свящ. Василия Адаменко³².

Идея перевода богослужения возникла у о. Василия во время миссионерской работы на Кавказе³³. «В 1908 г. он писал с просьбой о благословении о. Иоанну Кронштадтскому, ответа не получил, но почувствовал молитвенный ответ. Просил благословения и у патриарха Тихона, но тот сказал: „Разрешить не могу, делай на свой страх и риск.“ [31]. В 20-е годы о. Василий примыкает к обновленцам. В это время он служит в Ильинском храме Нижнего Новгорода³⁴, где им было введено: «богослужение на русском языке, общая исповедь (к ней допускались те, кто исповедовался и частно), частое причащение, соборование каждый пост. Служба была ежедневной, утром и вечером, часты были ночные службы. Вся литургия служилась при открытых дверях, все священнические

³¹ О.Константином была подготовлена к печати работа под заглавием «Поэзия богослужебных книг Православной Церкви», где, в частности, рассматриваются тропы, фигуры и источники образов. Местонахождение рукописи этой книжки нам не известно.

³² Информация о свящ. Василии Адаменко заимствована из книги иеромонаха Дамаскина [30. С. 203–207], а также сделанной в 1976 году З.А.Соколовой записи бесед с В.М.Воиновой, духовной дочерью о.Василия. Эта запись [31] и другие рукописные материалы были нам предоставлены З.А.Соколовой. Пользуюсь случаем выразить ей свою признательность.

³³ Точно также на полвека раньше миссионерская работа привела иер. Макария (Глухарева) к мысли продолжить работы по переводу Писания на русский язык.

³⁴ Василий Адаменко пользовался поддержкой митр. Сергия (Старгородского), который с 1924 г. занимал Новгородскую кафедру.

молитвы о.Василий произносил вслух. ... В определенные дни недели после вечернего богослужения прихожане оставались в храме, пели канты и произносили проповеди. ... Переводы осуществлялись самим о.Василием, лицами, не принадлежавшими к общине, и членами общины³⁵. Переводились богослужебные книги; Библия не переводилась – пользовались синодальным переводом. Переводы провалялись на пение, многократно обсуждались и изменялись. Многие первоначальные варианты отбрасывались. Иногда возвращались к словам славянского текста: „одесную Отца“, „воспряни“ и др. К обсуждению переводов привлекались все прихожане. Иногда о. Василий объявлял: „Молитесь, не получается перевод такого-то текста“

Переписка, перепечатка, редакционная и издательская работа осуществлялись членами общины. Во время литургии разрешалось до апостола работать в ризнице над переводами, а затем полагалось идти в храм. Печатали в тюремной типографии. Члены общины вели корректорскую работу и иногда участвовали в наборе текста [31].

В 1924 г. о.Василий принимает монашество с именем Феофан, а в 1931 г. приносит митрополиту Сергию покаяние в обновленчестве [32]. Вскоре после этого Василий Адаменко был арестован. Далее следует еще ряд арестов. В 1937 г. он был отправлен этапом в Караганду, после чего следы теряются. Запросы, в том числе от митрополита Сергия, остались без ответа. После ареста Василия Адаменко по-русски служил его приемник Василий Абоимов. Однако вскоре был арестован и он [30. С. 206].

Особенностью переводов о. Василия является то, что он знает и активно использует опыт предшественников. Так ряд мест русского перевода *Литургии Иоанна Златоуста* опираются на перевод митр. Антонина [27], *Погребальные стихиры Иоанна Дамаскина* – на переводы Н.Нахимова [33]. В.Адаменко успел издать переводы трех литургий, Всенощного бдения, Требник, ряд молитвословий из Триоди и Минеи [34–36]. В рукописях остались переводы большого числа служб (почти целиком была переведена Служебная Минея с апреля по июнь), акафистов, последований архиерейского богослужения. Местонахождение этих переводов нам не известно.

Свящ. Василий Адаменко получил письменное благословение Заместителя местоблюстителя Патриаршего престола на совершение богослужения на русском языке. Из-за исключительной важности этого документа приводим текст³⁶ и факсимиле:

Копия

СПРАВКА

Настоящая выдана священнику Вас. Адаменко (ныне иеромонаху Феофану) в том, что на основании определения Патриархии от 10 апреля 1930 г. за № 39, мною дано Ильинской общине г. Н.Новгорода (бывшей в руководстве у о. Адаменко) благословение на богослужение на русском языке, но с тем непременно условием,

³⁵ Имена переводчиков нам почти неизвестны. Можем назвать лишь имена еп. Гурия (Степанова), с которым В.Адаменко познакомился в Чердыни (в лагере), а также В.М. и А.М. Воиновых.

³⁶ Фотокопия этого документа была передана нам З.А.Соколовой. Местонахождение оригинала неизвестно.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЖИТЕЛЯ

26 ЯНВАРЯ 1935.

№ 162
МОСКВА.

Справка

Насколько видно священнику Фас. Ядаменко (ныне иеромонаху Феофану) в том, что, на основании определения Патриархии от 10 апреля 1930 г. за № 33, лично дано Ильинской общине г. И.-Коб.-города (бывший в управлении у о. Ядаменко) благословение совершать Богослужение на русской языке, "но с тем непременным условием, чтобы употребляемой у них текст богослужения был только переводом принятого нашей Православной Церковью богослужебного славянского текста без всяких произвольных вставок и изменений" (от 24 янв. 1932 г. п. 2). Кроме того, дано благословение на некоторые ставшие для них привычными, особенности богослужения, как-то: отверстие царские врат, чтение Св. Писания лицом к народу (как в иерусалимской церкви) и, "в виде исключения, чтение тайных молитв во всеуслышание" (п. 3).

Руководствуясь примером покойного Святейшего Патриарха, я не нахожу препятствий к тому, чтобы Преподобнейшие Епархиальные Архиеп. если найдут полезным, разрешили иеромонаху Феофану (или другим) то же самое и пажидий в своей епархии.

Заместитель Патриаршего
Местооблжителя

М. П.

Управлений делами
Патриаршего Священного Синода

с подлинным верно:

Сергий М. Москвитин.

Протоиерей Александр
Либедев.

чтобы употребляемый у них текст богослужения был только переводом принятого нашей Православной Церковью богослужебного славянского текста без всяких произвольных вставок и изменений (резолюция от 24 янв. 1932 г. п. 2). Сверх того, дано благословение на некоторые ставшие для них привычными особенности богослужения, как-то отверстие царских врат, чтение Св.Писания лицом к народу³⁷ (как в греческой церкви) и, „в виде исключения, чтение тайных молитв во всеуслышание“ (п. 3).

Руководствуясь примером покойного Святейшего Патриарха, я не нахожу препятствий к тому, чтобы Преосвященные епархиальные Архиепиеи, если найдут полезным, разрешали иеромонаху Феофану (или другим) то же самое и каждый в своей епархии.

Заместитель Патриаршего
местоблюстителя

Сергий М.Московский

Управляющий делами
Патриаршего Священного Синода

Протоиерей Александр Лебедев

Сравнение этой справки с докладом Собору 1917–1918 гг. «О церковно-богослужебном языке» убеждает нас, что митрополит Сергий действовал в соответствии с буквой Соборного решения. Как мы помним, доклад «О церковно-богослужебном языке» был передан органам Высшего Церковного Управления. Заместитель местоблюстителя имел полное право претворять его в жизнь.

Если опыт В.Адаменко воспринимался как нечто неожиданное и нуждался в утверждении и обосновании, то появляющиеся примерно в те же годы молитвословия на славянизированном русском языке не воспринимались как русские. Наиболее известным из русских текстов видимо является *Акафист благодарственный «Слава Богу за все»*³⁸. Сохраняющий особенности поэтики акафиста этот русский текст воспринимается как церковнославянский. Точно так же по-русски написана и *Молитва преподобных отцев и старцев Оптинокских*. Вероятно вопрос о возможности составления новых молитвословий на русском языке волновал церковное сознание 20–30-х годов. В частности эта тема поднимается в написанных в 1923 г. диалогах Сергия Булгакова [39]. Это не единственные примеры, однако полное описание и анализ этих текстов пока не предпринимался.

Продолжается и создание новых церковнославянских служб и акафистов. Так например, восстановление Собором 1917–1918 г. памяти Всех Святых в земле Российской просиявших предполагало создание соответствующей службы. Служба была составлена проф. Б.А.Тураевым и иеромонахом Афанасием (Сахаровым), утверждена патриархом и напечатана [40]. Текст был составлен очень быстро и после напечатания сами авторы предлагали ряд исправлений. В пересмотренном виде этот текст вышел в 1946 г. [41]. Существует также неизданная машинописная версия этого последования,

³⁷ Это допускал подготовленный комиссией «О богослужении... Собора 1917–1918 гг. доклад «Об упорядочении богослужения» [5. № 174. Л. 221].

³⁸ Наиболее ранняя из известных нам публикаций содержит помету, что автором акафиста является прот. Григорий Петров, умерший в 40-х годах в заключении [37. С. 699]. Автор более поздней публикации [38] приписывает авторство этого текста митрополиту Трифону (Туркестанову).

принадлежащая епископу Афанасию (Сахарову) [42. С. 470–489]. Кроме того, в богослужебную практику стал постепенно входить неизданный текст *«Похвалы, или священного последования на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы»* [42. С. 490–491]. Издано же это последование было лишь в 1989 г. [43. С. 52–76]. К этому же времени относятся тексты, посвященные иконе Богоматери *«Державная»*³⁹. В составлении службы этой иконе принимал участие Патриарх Тихон [44. С. 17–28]. Другая служба этой иконе была составлена В.В.Богородицким [44. С. 28–42]. Создается и *«Акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице, явления ради чудныя Ея иконы «Державная»* [37. С. 321–345], В.Н.Курнатовская создает *«Акафист святителю Игнатию Брянчанинову»* [45], в 1929 г. по благословению архиепископа Серпуховского Мануила (Лемешевского) был составлен акафист иконе Богоматери *«Неупиваемая чаша»* [46. С. 145] и ряд других текстов.

Новые церковнославянские тексты создавались и в эмиграции. Так в 1937 г. иеромонах Филипп (Гарднер) предпринимает перевод⁴⁰ *Литургии Иакова* на церковнославянский язык, причем предполагалось богослужебное использование этого перевода. Как известно, Литургия Иакова совершается в Иерусалиме один раз в год – 23 октября (память апостола Иакова, брата Господня), «поэтому, – пишет переводчик, – настоящее издание не представляет собой издания научно-археологического, а является изданием литургически живого чина, ибо издаваемая литургия служится в наши дни в Православной Церкви Иерусалимской, на Кипре и в Александрии. Ввиду этого перевод сделан не на русский язык, а на церковнославянский, т.е. на богослужебный язык славянских православных церквей, чтобы сохранить богослужебный характер перевода. Эти же причины заставили нас особенно внимательно отнестись к уставным указаниям⁴¹, [47. С. III]. В 1939 г. появляется издание этого текста, набранного кириллицей и предназначенного для богослужебного употребления⁴². Церковнославянский язык перевода сильно упрощен. В первую очередь упрощения коснулись синтаксиса.

Выявление и каталогизация созданных в эту эпоху церковнославянских текстов – дело будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб, 1906.

³⁹ Обретена 2 марта 1917 г.

⁴⁰ Перевод осуществлялся с текста греческого служебника 1931 г.

⁴¹ Более подробная информация об этом переводе содержится в журнале «Святая земля», № 1 за 1937 г., который, к сожалению, остался нам недоступен.

⁴² Это издание осталось для нас недоступным и информация о нем заимствована из рекламного объявления, помещенного в Православном Церковном календаре, который вышел в 1938 г. в Чехословакии [48].

2. *Евлогий (Георгиевский)*, митр. Путь моей жизни. Париж, 1947.
3. *Ильинский П.* Вопрос о богослужении на Церковном Соборе// Архангельские епархиальные ведомости. Архангельск, 1917–1918.
4. *Сове Б.И.* Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX–XX веках// Богословские труды. М., 1970. Сб. V.
5. Государственный архив Российской Федерации (бывший ЦГАОР). Ф. 3431. Оп. 1.
6. *Плетнева А.А.* К проблеме перевода богослужебных текстов на русский язык// Журнал Московской патриархии. 1993. № 9.
7. *Мефодий*, Епископ. О богослужебном языке Церкви в связи с другими сопредельными вопросами церковной реформы// Ориенбургские епархиальные ведомости. 1917. № 23–24; 1918. № 4
8. Священный Вселенский Ватиканский Собор II. Конституция «О богослужении». Vaticano, 1967. С. 14.
9. *Троицкий С.В.* О неправде карловацкого раскола. Paris, 1960. с.5.
10. Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. М., 1918. Вып. 1.
11. Об изменениях в церковном богослужении в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома// Церковные ведомости. 1917. № 9–15. Бесплатное приложение.
12. Об исправлении богослужебных чинов и молитвословий// Церковные ведомости. 1917, № 16–17. С. 83–86.
13. *Живов В.М., Успенский Б.А.* Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России// Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
14. *Иоани (Снычев)*, митр. Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов XX столетия. Сортавала, 1993.
15. О тексте тропаря и кондака Св. Кресту Господню// Журнал Московской патриархии. 1934. № 20–21.
16. Последование в Неделю Православия. СПб., 1904.
17. Последование в Неделю Православия. Пг., 1917.
18. Последование в Неделю Православия. М., 1808.
19. *Евсеев И.Е.* Собор и Библия. Пг., 1918.
20. *Логачев К.И.* Документы Библейской Комиссии II// Богословские труды. М., 1975. Сб. XV. С. 232;
21. *Логачев К.И.* Библейская Комиссия и изучение истории Библии у славян// Журнал Московской Патриархии. 1974. № 7.
22. *Нежный А.* Комиссар дьявола. – «Русская мысль» № 3939. 24.VII. 1992 г. Московское приложение.
23. *Попов Н.Г.* О богослужебном языке русской Православной Церкви. Самара, 1926.
24. *Адаменко В.* „Что делать?“ (О неотложных реформах в богослужебной практике Русской Православной Церкви). Самара, 1927.
25. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1923 г. М., 1923.
26. *Левитин–Краснов А., Шавров В.* Очерки по истории церковной смуты. 1922–1946. Kūsnasht, 1978. Т. 3.
27. *Антонин (Грановский)*, архиепископ. Божественная литургия, рецензированная по чинам древних литургий. М. 1923. Перепечатана в [26. С. 309–334].
28. *Смирнов К.* Литургия. (Реконструкция с введением и историческим комментарием. Лебедин, 1924.
29. *Смирнов К.* Чинопоследование общей исповеди. Сумы, 1926.
30. *Дамаскин (Орловский)*, иеромонах. Мученики, исповедники и

- подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь. 1992. Кн. 1.
31. *Соколова Э.А.* Запись бесед с В.М.Воиновой. 1976. (Рукопись).
 32. О принятии в общении со Св. Церковью и о допущении русского языка в церковном богослужении// Журнал Московской патриархии 1931 г. № 5. С. 2-3.
 33. *Нахимов Н.* Молитвы и песнопения православного молитвослова (для мирян) с переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями. СПб., 1912.
 34. *Адаменко В.* Служебник на русском языке. Н.-Новгород. 1924
 35. *Адаменко В.* Порядок всенощного богослужения на русском языке. Н.-Новгород. 1925.
 36. *Адаменко В.* Сборник церковных служб, песнопений главнейших праздников и частных молитвословий Православной Церкви на русском языке. Н.-Новгород, 1926 (Перепечатка: Paris, 1989)
 37. Акафистник. Брюссель [б.г.].
 38. *Трофимов А.* Об акафисте «Слава Богу за все»// Москва, 1992. № 1.
 39. *Булгаков О.Н.* У стен Херсониса// Символ. Париж, 1991. № 25. С.234.
 40. Служба Всем Святым в Земле Российской просиявшим. М. 1918.
 41. Служба Всем Святым в Земле Российской просиявшим. М. 1946.
 42. *Лозинский Р.* Русская литургическая письменность. т. 2. Кострома: МДА. 1967 (рукопись).
 43. Минея август. М., 1989, Часть 2. С. 52-76.
 44. Минея март. М., 1984. Ч. 1.
 45. Акафист Святителю Игнатию Брянчанинову. М. 1990.
 46. *Иосиф (Снычев),* митр. Митрополит Мануил (Лемешевский). Биографический очерк. СПб., 1993.
 47. *Филитт (Гарднер),* иеромонах. Божественная Литургия святого славного апостола Иакова, брата Божия и первого иерарха Иерусалимского. Иерусалим, 1937. (Отгиск из журнала «Святая земля»).
 48. Православный Церковный календарь за 1939 г. [б.м.]. Типография преп. Иова Почаевского, 1938 г.



КОНФЕРЕНЦИЯ В ХАРЬКОВЕ

Пожалуй, даже неожиданной можно назвать тему научной встречи, которая состоялась 8—10 октября 1992 г. на Украине. Название ее звучало контрастом к нашему трудному времени: «Комическое в мировом литературном процессе XX в. (художественная практика и проблемы научного осмысления)». В работе международной конференции, организованной по инициативе кафедры зарубежных литератур Харьковского государственного университета, приняли участие ученые Украины, России, Беларуси, Казахстана.

Сатира и юмор — особая область литературы, через которую часто преломляется критически-обличительное и оппозиционное отношение к тем или иным общественным явлениям, к официальному видению мира и т. д. В результате эта сфера нередко оказывается под подозрением и запретом, особенно в государствах с тоталитарным режимом. Красноречивый пример тому — вся история советской литературы. Естественно всячески сдерживалось и ограничивалось и научное осмысление этой части литературы. Между тем исследование ее может существенно пополнить всю картину литературного процесса нашей эпохи.

Как отметил во вступительном докладе пленарного заседания А. Д. Михилев (Харьков), многообразные формы сатиры, юмора, сарказма, иронии, гротеска не только пронизывают всю литературу XX в., но и имеют тенденцию играть в ней все большую роль. В числе вопросов, подлежащих изучению, докладчиком была выделена, в частности, проблема генезиса указанных литературных форм, мера и характер их особенности с социально-политической и духовно-идеологической жизнью эпохи, художественно-эстетические и философско-нравственные ориентиры комического, феномен его нетрадиционных видов, получивших широкое распространение в XX в. (черный юмор, литература абсурда), наконец, сама природа комического и иерархия его художественных разновидностей, степень адекватности их научной интерпретации и понятийно-терминологического освоения.

Одна из особенностей комики и сатиры XX в. заключается, по мнению многих докладчиков, в ее нередкой сопряженности с трагедийным началом, что находит объяснение в атмосфере времени, небывалых масштабах войн и потрясений, кровавом произволе бесчеловечных политических режимов, в опасности атомных и экологических катастроф, угрожающих самому существованию человеческого рода. Некоторым аспектам литературы гротеска и абсурда был посвящен доклад В. А. Хорева (Москва), рассмотревшего их на материале творчества польского писателя С. Мрожека. При этом проблема была соотнесена с традициями гротескового реализма, игравшего некогда важную роль в европейской литературе, и с функцией гротеска в современном художественном сознании, реагирующем на обезличение человека и на абсурдность многих реальностей современного бытия. В докладе

С. В. Никольского (Москва), обратившегося к творчеству К. Чапека, Е. Замятина, М. Булгакова, О. Хаксли, Д. Оруэлла, констатировалось смыкание определенной части сатирической литературы нашего времени с философским осмыслением самой сущности человека, его гуманистических духовно-нравственных констант и, с другой стороны, аномальных отклонений от этой сущности в современной социально-политической и международной практике. И. В. Шабловская (Минск) осветила особенности постмодернистской иронии, связанной с демифологизированным и деидеализированным представлением о современной цивилизации. Сопоставляя античную и романтическую иронию с постмодернистской, докладчица на творчестве чешского прозаика Б. Грабала показала, что последняя, подобно смеху во все времена, способна выполнять миссию защиты человека.

На секционные заседания были вынесены общие проблемы комикки, сатиры и юмора и вопросы их развития в славянских литературах и литературах Западной Европы. А. М. Гуторов (Харьков) развил мысль о том, что в русской литературе советского периода помимо управляемой сверху сатиры, не вышедшей за рамки официальной идеологии, существовало и противоположное течение, о котором свидетельствует проза М. Булгакова, стихи О. Мандельштама, творчество Н. Эрдмана, В. Тендрякова, диссидентская литература (В. Войнович, А. Зиновьев) и т. д. Было отмечено соединение комического и трагического начал во многих произведениях 20—70-х годов (М. Булгаков, А. Твардовский, отчасти представители деревенской прозы — В. Белов, Ф. Абрамов, В. Можаяев, В. Шукшин), в заслугу которым надо поставить, в частности, размывание газетных представлений о жизни якобы процветающего села. Докладчик коснулся некоторых приемов маскировки, применявшихся советскими сатириками и юмористами. В докладе К. Х. Балабухи (Харьков) было отмечено, что функции крупных сатирических жанров, развитие которых было сквано политическими условиями и давлением автоцензуры, в той или иной мере нередко брали на себя малые поэтические жанры и соответствующие вкрапления в лирике, часто приобретавшие вид афористически звучащих сатирических формул в творчестве украинских поэтов последних десятилетий — Винграновского, Симоненко, Драча и др. Эволюцию украинской комедии и ее сценических воплощений проследила Н. Г. Суворова (Харьков). Если в 20-е годы происходило обогащение украинского театрального искусства за счет нового прочтения мировой классики (Шекспир, Мольер, Грибоедов, Гоголь, Островский, Шоу) и широкого использования возможностей пародии, гротеска, эксцентрики, буффонады, фантазмагии, а также возрождения бурлескных и травестийных традиций национальной украинской сцены (постановки пьес М. Кулиша, А. Кочерги, И. Мамонтова), то к середине 30-х годов жанрово-стилевая палитра начинает тускнеть, и игровая стихия уступает место структурам водевильного типа, лирической и бытовой комедии, которые позднее многократно тиражировались. Нынешние обновительные процессы сопровождаются возрождением экспериментального поиска и расширением диапазона комедийных решений.

Как крупнейший вклад в обличение большевизма оценил прозу М. А. Булгакова Н. С. Степанов (Винница). А. Г. Павлович (Луцк) затронул вопрос о соотношении сатиры и трагедийного элемента в повести Булгакова «Роковые яйца». Басенное творчество украинского поэта В. Иванова в его связях с фольклором анализировал Е. М. Присовский (Одесса), раскрывший искусство актуального переосмысления традиционных басенных и сказочных образов и персонажей для осмеяния современного бюрократизма, хищничества, лихоимства.

В поле зрения участников конференции оказались и некоторые писатели русского и украинского зарубежья. Роман В. Набокова «Дар» привлек внимание М. В. Моклицы (Луцк), раскрывшей функцию пародийного образа

Чернышевского в концепции романа. Генетические истоки творчества В. Войновича и своеобразие жанрово-стилевой структуры его произведений в контексте романа-анекдота, романа-предостережения и антиутопии осветили А. Д. Михилев и Р. Л. Кучер (Харьков).

Значительный интерес вызвала западноевропейская литература. Трагико-сатирическая тема, которую можно определить как «властитель и его окружение», была оригинально рассмотрена в докладе О. Н. Захаровой (Симферополь) о пьесе А. Камю «Калигула», в которой показан автоматически действующий механизм поддержания паразитарного режима за счет царящей вокруг императора стихии лести, страха, лицемерия, корысти и борьбы за место. Антиталитарную сущность романа Дж. Оруэлла «1984» и осмеяние им двоемыслия с помощью «новояза» раскрыла Т. Н. Тесленко (Харьков), остановившаяся также на проблеме перевода этого произведения на другие языки.

Заметно было повышенное внимание участников конференции к вопросам поэтики, жанров, к категориальным понятиям. Экскурс в античные истоки сатиры в связи с понятием комического и трагического был сделан Л. В. Павленко (Симферополь), использовавшим и недавно найденные фрагменты произведений древнегреческой литературы. Г. В. Ейгер и Е. Н. Бахарева (Харьков) в совместном докладе «Логические аспекты юмора» на творчестве Шоу, Ремарка, Пристли анализировали различные способы достижения комического эффекта и варианты комических коллизий с точки зрения формальной логики. Н. Ф. Копыстьянская (Львов), широко оперируя материалом западноевропейской сатирической прозы, продемонстрировала художественный потенциал различных типов ретроспекции и чередования временных пластов, создания образа времени. Сущность романтической иронии осветил И. В. Егоров (Гродно), рассмотревший повесть Гоголя и предложивший понятие сентименталистской иронии, открывающее путь сопоставительному исследованию иронии на разных этапах литературного процесса. Своего рода сжатую монографию представлял собой доклад С. А. Матяш (Караганда), разбиравшей поэтику русской эпиграммы XX в., но по сути давшей емкую общую характеристику основных структурных компонентов этого жанра в его эволюции на протяжении двух с лишним столетий, а также проследившей динамику ее стихотворных форм. В свою очередь, Ю. Г. Перлина (Днепропетровск) рассмотрела в качестве органического компонента жанра эпиграммы наличие в ней пуанты и предложила классификацию ее семантических и структурных вариантов, общим знаменателем которых является эффект неожиданности, своего рода «обманутого ожидания».

Не был обойден вниманием жанр антиутопии, актуальность которого так повысили исторические процессы XX в. Известны слова Н. Бердяева: «Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать их окончательного осуществления». Отсюда и особая роль антиутопий. О. Ю. Волох (Харьков) polemизировал с мнением об исчерпанности этого жанра и указал (на примере А. Кестлера, В. Тендрякова, Ф. Искандера) на потенциал его дальнейшего развития, заключенный в синтезе различных жанровых форм — научной фантастики, социальной прогностики, философских и сатирических подходов к теме. И. Н. Казаков (Славянск), обратившись к творчеству А. Платонова, подчеркнул возможности комического и пародийного эффекта, скрытые в сказовой форме.

Затрагивалась проблема своеобразия сатиры в контексте различных литературных течений и стилей. Удачной следует признать мысль А. Д. Михилева и А. П. Краснячик (Харьков) сопоставить творчество Дж. Джайса и А. Белого, что позволило сделать интересные выводы о сходстве их пути от символизма к вершинным модернистским произведениям («Уллис», «Пе-

тербург»), а также о типах сатирического элемента в их произведениях. Т. М. Кривина (Орел) попыталась вскрыть гуманистический потенциал творчества С. Беккета, предложив любопытные сопоставления его пьесы «В ожидании Годо» с драмой Горького «На дне». Во многих докладах анализировалось творчество отдельных писателей, как правило, однако, в соотношении с общими проблемами и процессами. Е. А. Михеичева (Орел) рассматривала сатиру как элемент трагедии в творчестве Л. Андреева, у которого смешная маска часто скрывает лицо страдающего человека. Была показана связь поэтики Андреева с символизмом, охарактеризованы типы контраста в его прозе, ирония лейтмотивных образов и т. д. И. И. Московкина (Харьков) сделала акцент на жанровом составе прозы Л. Андреева, указав на нередкое у него пародийное смещение жанровых форм. Хотя ужас и является у Л. Андреева неотъемлемым слагаемым модели мира, будучи доведен до абсурда, сам в себе заключает потенциал собственного отрицания, ибо обнаруживает свои внутренние разрушительные возможности. Е. М. Кагановская (Киев) говорила о разных способах выражения иронии в прозе испанского писателя М. Эмс, предложив их текстуальный анализ. А. В. Пронкевич (Николаев) рассмотрел творчество М. де Унамуно, раскрыв философско-интеллектуальные, на грани трагизма и сатиры, искания писателя, и отметив, в частности, его ироническое отношение к позитивистской науке.

К сожалению, немало докладчиков, в том числе предложивших весьма интересные темы, по разным причинам не смогли прибыть на конференцию. Тем большую ценность представляют тезисы, изданные организаторами научной встречи (под заглавием, совпадающим с названием конференции). Участники конференции высоко оценили инициативу Харьковского университета и предложили по возможности сделать конференции по проблемам сатиры и юмора периодическими.

Никольский С. В.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИАЛЕКТОЛОГИИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В СОФИИ

В Софии 10—11 ноября 1992 г. состоялась международная конференция на тему «Диалектология и лингвистическая география», посвященная 80-летию со дня рождения крупнейшего болгарского языковеда середины нынешнего столетия профессора Стойко Стойкова. Конференция была организована по инициативе проф. Максима Младенова (Институт балканистики Болгарской академии наук, София) и его коллег из Академии наук и Софийского университета при финансовой поддержке софийских фирм «ИРИС-92» и «Илиев—Стоянова».

Проф. Ст. Стойков (26 X 1912 — 9 XII 1969) внес большой вклад в современную болгарскую диалектологию и болгарское языкознание в целом. Он автор таких широко известных трудов как «Болгарская диалектология» (2-е изд., 1968), «Банатский говор» (1967), «Лексика банатского говора» (1968), множества статей по разным вопросам болгарской диалектологии, в том числе и знаменитой статьи «Основное диалектное деление болгарского языка», представленной в качестве доклада на V Международном съезде славистов (София, 1963). Важнейшим же трудом Ст. Стойкова по болгарской диалектологии является бесспорно «Болгарский диалектологический атлас» (т. I—IV, 1964—1981).

Проф. Ст. Стойкова хорошо знали в Институте славяноведения и балканистики РАН и вообще в лингвистических кругах России. Он был членом редколлегии издававшейся Институтком серии «Статей и материалов по болгарской диалектологии», автором статей в этом издании и «Вопросах языкознания», неоднократно выступал с докладами в Институте. Результатом тесного сотрудничества проф. Ст. Стойкова с Институтком явилось, как известно, издание 1-го тома «Болгарского диалектологического атласа», подготовленного совместно болгарскими и советскими диалектологами под общим руководством проф. Ст. Стойкова и проф. С. Б. Бернштейна.

В программу конференции было включено около 50 докладов. Не все они состоялись — одни из-за отсутствия авторов, другие по причине, о которой будет сказано ниже. Несколько докладов было включено в программу уже в ходе конференции. Большая их часть, естественно, была подготовлена болгарскими учеными, в числе которых были многие ведущие лингвисты современной Болгарии. Широко представлены были и доклады начинающих ученых — сотрудников БАН, преподавателей вузов, аспирантов. В конференции приняли участие более 10 зарубежных ученых из России (2 участника — ст. научн. сотр. Г. П. Клепикова и автор настоящих строк — оба из Института славяноведения и балканистики РАН), Украины, Беларуси, Польши, Чехословакии, Молдовы, Германии, Греции, США, Турции и Южной Кореи.

Конференцию открыл чл.-корр. БАН, профессор Софийского университета Тодор Бояджиев. Было оглашено приветственное письмо проф. С. Б. Бернштейна, адресованное участникам конференции. С первым докладом на тему «Профессор Стойко Стойков и болгарская диалектология» должен был выступить проф. Максим Младенов — один из его многочисленных учеников, стойкий продолжатель его дела. Прекрасно организовав со своими коллегами конференцию и успешно подведя ее к самому началу, к глубокому сожалению ее участников, бескрайнему горю семьи и близких, М. Младенов, утром 10 ноября, перед самым открытием конференции почувствовал себя плохо и в первый час ее работы скончался от второго в его жизни инфаркта. Весть о внезапной кончине М. Младенова, сообщенная Т. Бояджиевым, прервавшим доклад чешского слависта Вл. Шаура, потрясла участников конференции. Утреннее заседание было прервано. Конференция возобновила работу через несколько часов по сокращенной частично программе.

Значительное место на конференции заняли доклады с характеристикой трудов проф. Ст. Стойкова по болгарской диалектологии и развития его идей современными диалектологами. Кроме уже названного доклада проф. М. Младенова, прочитанного его коллегой и помощником по организации конференции Г. Колевым, этому был посвящен другой доклад М. Младенова — «Болгарская лингвогеография: проблемы, результаты, перспективы», прочитанный доцентом В. Радевой (Софийский ун-т), а также доклады самой В. Радевой «Исследование „Банатский

говор" проф. Ст. Стойкова и его значение для болгарской диалектологии», «Ареальные аспекты диалектологической концепции проф. Ст. Стойкова» Г. А. Цыхуна (Минск), «Некоторые проблемы истории болгарского языка и „Болгарский диалектологический атлас“» Г. П. Клепиковой. Большое внимание было уделено так называемой ятевой проблеме. В докладах сотрудников сектора диалектологии Института болгарского языка БАН «Ятевая изоглоссная область — презумпция или реальность?» И. Кочева и «Лингвогеографические аспекты ятевой проблемы» М. Тетовской-Троевой, Т. Костовой и Е. Кяевой были представлены новые данные о распространении разных типов реализации старого «ятя» в современных говорах по материалам «Болгарского диалектологического атласа». В историческом плане этой же проблеме был посвящен доклад Вл. Шаура (Брно) «Древняя болгарская ятевая изоглосса». Многие доклады были посвящены синхронной и диахронической характеристике других явлений звукового, грамматического и лексического строя: «Симметричные и асимметричные изоглоссы в диалектном ареале» Б. Байчева (Велико Тырново), «Явления, связанные с *dz* и *dj* в болгарских говорах» Б. Велчевой (София), «Особенности употребления членных морфем существительных имен во фракийских говорах» Н. Павловой (София), «Какие говоры в лексическом отношении стоят ближе всего к древнеболгарскому языку» С. Керемидчиевой (София), «Об одной лексико-семантической изоглоссе: *служить* 'быть на службе' / 'угощать'» Г. Колева, «Древнеболгарские лексические элементы в новоболгарских говорах Украины» И. А. Стоянова (Киев), «Некоторые мнимые заимствования из греческого в болгарских говорах» Т. Тодорова (София), «Иноязычное влияние на кортенский говор в Бессарабии» В. Кондова (Молдова) и др. В некоторых докладах рассматривались вопросы, выходящие за рамки собственно болгарской диалектологии и представляющие более широкий интерес, например, «Названия вора в славянских языках» Е. Русека (Краков).

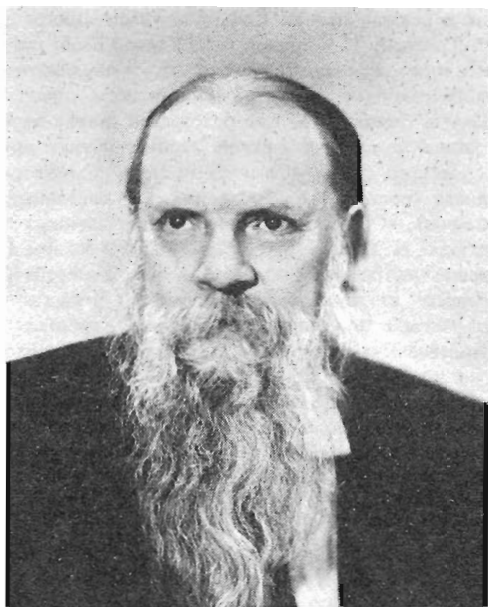
На конференции обсуждались и другие проблемы, которыми занимался проф. Ст. Стойков. Одна из них — проблема диалектов и литературного языка в синхронном и диахроническом плане. Отдельные аспекты этой проблематики были освещены в докладах «Болгарская деловая письменность первой половины XIX в. как источник исторической диалектологии» К. Гутшмидта (Берлин), «Какие говоры легли в основу современного болгарского литературного языка на стадии его становления? (Социолингвистический аспект)» Г. К. Венедиктова (Москва). Другая проблема — социальные диалекты, которые рассматривались в докладах М. Виденова (София) «Об одном диалектном слове как социальном маркере», «Синтаксические способы экспрессивизации (по материалам болгарского и чешского сленга)» Ц. Карастойчевой (Велико Тырново), «О некоторых характерных особенностях номинации в тайном говоре лудильщиков» Г. Митринова (София), «Социолингвистическое описание игр софийских детей» А. Ангелова (София).

Поиск и предложениям новых способов картографического отображения диалектных данных были посвящены доклады «Применение картографических методов в лингвогеографии» Б. Коэна (София) и «Способы обозначения изоглосс с помощью букв» Н. В. Котовой (София).

Конференция (ее материалы будут опубликованы) показала, что после длительного замалчивания заслуг и достижений проф. Ст. Стойкова в области болгарской диалектологии, острой критики и нападок на некоторые важные положения его взглядов на историю и современное состояние болгарских диалектов, в частности на диалектное членение и статус периферийных говоров, наступила пора переоценки вклада ученого в болгарскую диалектологию и болгарское языкознание в целом.

...На следующий день по завершении конференции, 12 ноября, состоялись похороны проф. Максима Младенова — ее организатора. Родные и близкие, многочисленные друзья, коллеги и ученики покойного, многие участники конференции пришли в тот хмурый, моросивший легким дождем осенний день на Центральное софийское кладбище, чтобы проводить в последний путь скоропостижно и безвременно скончавшегося видного диалектолога современной Болгарии. После отпевания по православному обряду в кладбищенской церкви с прощальными словами выступили ученый секретарь Президиума БАН проф. Е. Дограмаджиева и научный сотрудник Института балканистики БАН проф. Б. Велчева, рассказавшие о его жизненном и научном пути, о его вкладе в болгарскую диалектологию. Похоронили М. Младенова на том же кладбище, на котором почти 23 года назад, в декабре 1969 г., был похоронен его учитель проф. Ст. Стойков, у могилы которого он тогда сказал последнее прощальное слово. Судьбе угодно было прервать жизнь проф. М. Младенова в тот именно час, когда начала работу подготовленная им международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения его учителя проф. Ст. Стойкова.

Венедиктов Г. К.



70 лет академику Н. И. Толстому

15 апреля 1993 г. исполнилось 70 лет академику Никите Ильичу Толстому. В отечественной и зарубежной славистике давно высокую оценку и признание получили труды Н. И. Толстого как крупного специалиста в области сравнительной лексикологии и грамматики славянских языков, истории славянских литературных языков и письменности, истории славистической науки, а также в области славянского фольклора, мифологии и духовной культуры славян. Более 300 научных работ вышло из-под его пера. Поражает широта научных интересов юбиляра. Проблемам семасиологии и лексической типологии посвящены его монография «Славянская географическая терминология», докторская диссертация «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии», большая серия статей «Из географии славянских слов» и др. Серия фундаментальных исследований Н. И. Толстого связана с проблемами теории, типологии и истории славянских литературных языков и роли древнеславянского языка как общего литературного языка южных и восточных славян в эпоху средневековья. Эти работы обобщены в книге «История и структура славянских литературных языков».

Особой заслугой Н. И. Толстого можно считать создание нового научного направления — комплексного этнолингвистического изучения языка и духовной культуры славянских народов. По его инициативе и под его руководством много лет ведется систематическая экспедиционная работа в Полесье. Из опыта комплексного изучения народной культуры Полесья в общеславянской перспективе вырос замысел создания фундаментального многотомного труда — «Этнолингвистического словаря славянских древностей», над которым в настоящее время работают под руководством Н. И. Толстого сотрудники сектора этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики РАН.

Много сил уделяет Н. И. Толстой воспитанию научных славистических кадров. Будучи профессором МГУ, он ведет спецкурсы по этнолингвистике, сравнительной лексикологии, читает курсы «Введение в славянскую филологию», «Старославянский язык», «Славянский фольклор». Среди его учеников более двадцати кандидатов и несколько докторов наук.

Одновременно с этим Н. И. Толстой ведет большую научно-организационную работу по подготовке и проведению Международных съездов славистов, конференций и симпозиумов. Он член многих специализированных Ученых советов, Экспертного совета ВАК, заместитель академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН, член Президиума РАН, председатель Российского комитета славистов. В течение многих лет Н. И. Толстой являлся членом редколлегии журналов «Вопросы языкознания», «Советское славяноведение», «Русская речь»; в настоящее время он главный редактор фольклорного журнала «Живая старина».

Научный авторитет Н. И. Толстого в славистической науке общепризнан, его работы высоко оценены за рубежом, переведены на многие европейские языки. Он избран иностранным членом-корреспондентом Австрийской, Македонской, Сербской, Югославянской (Загребской), Словенской академий наук; в 1991 г. получил звание доктора *honoris causa* Люблинского университета в Польше.

Коллеги поздравляют Н. И. Толстого со знаменательной датой и желают ему дальнейших творческих успехов, высокой научной активности, доброго здоровья и благополучия.

CONTENTS

DISCUSSIONS

Socialist realism as a historical-cultural phenomenon	3
---	---

ARTICLES

<i>Nosov B. V.</i> Kurland dukedom and Russian-Polish relations in the 60-ies of the XVIII c.: to the prehistory of the allotments of Rzecz Pospolita	54
<i>Diakov V. A. T.</i> Kostiuszko and his comrades after the Macejovic battle (1794—1796)	67
<i>Kruchkovski T. T.</i> Problems of allotments of Rzecz Pospolita and Russian-Polish relations of the second half of the XVIII c. in foreign historiography (1970—1990)	76
<i>Diakov V. A.</i> On the scientific contents and political interpretations of the Euro-Asian historiosophy	101

MATERIALS TO THE MANUAL OF CHURCH-SLAVIC

<i>Kravetski A. G.</i> Discussion on Church-Slavic language (1917—1943)	116
---	-----

CHRONICLE

<i>Nicołskij S. V.</i> Conference in Kharkow	136
--	-----

* * *

<i>Venediktov G. K.</i> International conference on dialectology and linguistical geography in Sofia	140
70-th anniversary of the birthday of acadimician N. I. Tolstoy	142

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 10.06.93 Подписано к печати 12.08.93 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать Усл. печ. 11,7 л. Усл. кр.-отг. 13,5 тыс. Уч.-изд. л. 12,6 Бум. л. 4,5
Тираж 1128 экз. Зак. 4419 Цена 18 р.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а Телефон 938-01-20
Московская типография № 2 ВО «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

Российская торговая фирма
«АКАДЕМКНИГА»

предлагает широкий выбор научной и художественной литературы в своих новых магазинах.

Запомните их адреса:

- Мичуринский проспект, д. 12. Тел. 932-74-79
- Б. Черкасский пер., д. 4. Тел. 923-36-82
- ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2.
Тел. 936-32-45.

Цены на книги значительно ниже рыночных.

Вниманию ученых!

Обслуживание по бюллетеням «Книжные новинки» производится по адресу:

ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2,
тел. 936-32-45.